

ISSN 0132-1366

АКАДЕМИЯ НАУК
СССР

Советское
СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

3
1987



ИЗДАТЕЛЬСТВО
• НАУКА •

Советское
СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

МАЙ—ИЮНЬ

3

1987

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1965
ГОДУ

МОСКВА

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Славин Г. М.</i> К характеристике международных условий строительства социализма в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (вторая половина 50-х -- начало 60-х годов)	3
<i>Попович Никола.</i> (СФРЮ). Югославянское добровольческое движение в России (1914—1918)	14
<i>Греков И. В.</i> Московско-польский договор 1686 г. о союзе и «вечном мире»	27
<i>Липатов А. В.</i> Проблемы создания общей истории славянских литератур (От средневековья до середины XIX в.)	44
<i>Прокофьева Д.</i> К вопросу о литературном стереотипе в польской романтической поэзии	57
<i>Мурьянов М. Ф.</i> У истоков лексики садоводства в славянских языках	64
<i>Смольская А. К.</i> Диахронные константы славянского именного словопроизводства и феминные суффиксы в сербохорватском литературном языке	75
<i>Герд А. С.</i> Зональная группировка славянских текстов XV—XVI веков	82

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

<i>Кишкин Л. С.</i> История одной книги о Пушкине	88
<i>Полак Йозеф.</i> (ЧССР). Отношение Яна Неруды к Франтишке Палацкому	93

<i>Чернявский Г. И.</i> Социальная структура и политические движения в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: Межвоенный период	98
<i>Мыльников А. С.</i> Ян Неруда. Библиографический словарь	101
<i>Кулагина А. В.</i> V širom poli rokyta. Slovenské ľudové balady, romance a novelistické piesne	102
<i>Тяпко Г. Г.</i> П. А. Дмитриев, Г. И. Сафронов. Вук С. Караджич и его реформа сербохорватского/хорватосербского литературного языка	105

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

<i>Кузьмин М. Н.</i> Международный симпозиум о Я. А. Коменском	109
--	-----

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

А. К. КАВКО (главный редактор), В. А. ДЬНКОВ,
 В. В. ЗЕЛЕНИН (зам. главного редактора), В. И. ЗЛЫДНЕВ,
 В. Р. КАРАСЕВ, Д. Ф. МАРКОВ, А. И. НЕДОРЕЗОВ, С. В. ПИБОЛЬСКИЙ,
 Ю. А. ПИСАРЕВ, Л. Н. СМИРНОВ, Н. И. ТОЛСТОЙ (зам. главного редактора),
 И. Б. ШИМЕРАЛЬ

Адрес редакции: 117312, Москва, ул. Вавилова, д. 37а

Телефон 124-98-11

Зав. редакцией *Е. В. Пономарёва*



Славил Г. М.

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ (вторая половина 50-х — начало 60-х годов)

Во второй половине 50-х — начале 60-х годов строительство социализма в странах Центральной и Юго-Восточной Европы проходило в сложных международных условиях, главное содержание которых составляла борьба сил социализма и демократии против сил империализма и реакции.

«Чем сильнее ход исторического развития подтачивает позиции империализма, тем более враждебной интересам народов становится политика его наиболее реакционных сил. Империализм оказывает ожесточенное сопротивление общественному прогрессу, предпринимает попытки остановить ход истории, подрвать позиции социализма, взять социальный реванш во всемирном масштабе» [1, с. 132].

В то время как Советский Союз и выступавшие вместе с ним социалистические государства ставили своей целью укрепление мира и международного сотрудничества, Соединенные Штаты, Великобритания и следовавшие за ними другие капиталистические государства, выступая общим фронтом против социализма, стремились продлить и всемерно обострить развязанную ими «холодную войну» против СССР и других социалистических стран.

Большое значение для дальнейшего развития всей мировой социалистической системы, для усиления борьбы за мир имел XX съезд КПСС, состоявшийся в феврале 1956 г. Съезд дал оценку международного положения, сложившегося ко второй половине 50-х годов, зафиксировал, что в международном развитии произошли коренные изменения в сторону упрочения позиций социализма.

XX съезд принял к основополагающему выводу о том, что «главную черту нашей эпохи составляет выход социализма за рамки одной страны и превращение его в мировую систему, причем капитализм оказался бессильным помешать этому всемирно-историческому процессу» [2, с. 96]. Было отмечено, что социалистические страны, и среди них страны Центральной и Юго-Восточной Европы, достигли больших успехов в экономической, политической, идеологической, военной областях. К 1956 г. они производили уже более одной четвертой части мировой промышленной продукции.

КПСС и коммунистические партии государств Центральной и Юго-Восточной Европы придавали первостепенное значение развитию и укреплению экономики, ибо экономическая мощь, более высокая производительность труда, как указывал В. И. Ленин, в конечном счете предопределяют победу нового строя над капитализмом. Ленин считал, что тенденция к созданию единого, по общему плану регулируемого пролетариатом всех наций, всемирного хозяйства как целого «безусловно подлежит дальнейшему развитию и полному завершению при социализме» [3, с. 164].

Создание мировой социалистической системы хозяйства, важной и неотъемлемой составной частью которой стала экономика стран Центральной и Юго-Восточной Европы, положило начало осуществлению великой ленинской идеи. Во второй половине пятидесятых годов страны, вступившие на путь социализма, крепили экономический союз между собой, отвечавший национальным интересам каждой из них и в то же время — общим целям. Их экономический потенциал неуклонно увеличивался, чему способствовала деятельность Совета Экономической Взаимопомощи. В мае 1956 г. в Берлине состоялась VII сессия СЭВ, по решению которой началась реализация первого координационного плана развития основных отраслей народного хозяйства стран—членов СЭВ на 1956—1960 гг. Их успехи наглядно свидетельствовали об укреплении социализма.

XX съезд констатировал, что в результате коренных сдвигов в пользу социализма на международной арене и огромного возрастания для трудящихся его притягательной силы создаются более благоприятные условия для победы социализма [2, с. 102]. Решающий вклад в создание этих условий вносил Советский Союз. Его достижения во внутренней и внешней политике, всесторонняя помощь социалистическим странам явились важнейшим фактором их дальнейшего продвижения по пути строительства социализма.

Укрепление позиций социализма в мировом масштабе накладывало глубокий отпечаток на всю международную обстановку. Государства Варшавского Договора во главе с Советским Союзом противопоставляли общему курсу империалистических стран во главе с США на подготовку к новой мировой войне курс на мирное сосуществование государств с различным социальным строем. XX съезд раскрыл существо этого курса, обосновал возможность предотвращения глобального военного конфликта. Съезд подчеркнул, что образование мировой социалистической системы создало новые экономические и политические возможности для сохранения мира между капиталистическими и социалистическими государствами.

Советский Союз и другие социалистические государства руководствовались ленинским принципом мирного сосуществования, ибо только в таких условиях возможно успешное продолжение социалистического и коммунистического строительства. Мирное сосуществование ограничивает проявления агрессивной сути империализма. Не ослабляя и не устраняя классовую борьбу на международной арене, оно предусматривает разрешение спорных проблем и конфликтов мирными средствами, установление такого международного порядка, «при котором господствовала бы не военная сила, а добрососедство и сотрудничество, происходил широкий обмен достижениями науки и техники, ценностями культуры на пользу всех народов» [1, с. 136—137].

Социалистические страны Центральной и Юго-Восточной Европы последовательно боролись за установление именно такого порядка, за то, чтобы спорные международные вопросы решались не на полях сражений, а за столом переговоров. Коммунистические партии и правительства этих стран считали соблюдение принципа мирного сосуществования главным условием успешного строительства основ социализма и разделяли вывод XX съезда КПСС о реальной возможности не допустить развязывания новой войны, сохранить и упрочить мир.

В резолюции, принятой на мартовском (1956) пленуме ЦК Коммунистической партии Чехословакии говорилось: «XX съезд КПСС имеет для нас огромное значение потому, что он обобщил опыт не только КПСС, но и всего международного рабочего движения и в свете творческого ленинизма рассмотрел новые факты и события мирового развития, дал ясный, научный ответ на основные проблемы истории человечества» [4].

Как известно, на XX съезде был поставлен вопрос о культе личности И. В. Сталина, определены меры по устранению этого чуждого ленинизму явления. 30 июня 1956 г. ЦК КПСС принял постановление «О преодолении культа личности и его последствий». Оно имело важное значение для международного пролетарского единства, для отпора идеологическим

противникам социализма. Постановление содержало научный анализ причин обострения идеологической борьбы между социализмом и капитализмом, характеризовало конкретно-исторические условия, которые способствовали созданию культа, осуждало нарушения ленинских норм и открывало простор для развития партийной и советской демократии [2, с. 206]. Постановление ЦК КПСС было встречено с одобрением коммунистами, всеми трудящимися СССР.

Зарубежные коммунисты, братские коммунистические и рабочие партии, общественность стран Центральной и Юго-Восточной Европы, все прогрессивные силы в мире положительно оценили критику в СССР культа личности.

Враждебные социализму силы пытались использовать эту критику, чтобы оклеветать КПСС и Советский Союз, бросить тень на все международное коммунистическое движение и его достижения. Антикоммунистическая клеветническая кампания была рассчитана на подрыв доверия трудящихся Советского Союза и других социалистических стран к КПСС, к коммунистическим и рабочим партиям. Империалисты стремились столкнуть социалистические страны с Советским Союзом, вбить клин в отношения между ними, развенчать СССР как ведущую силу социалистического лагеря, очернить марксистско-ленинское учение. Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) и госдепартамент прилагали много усилий, чтобы использовать в интересах «холодной войны» осуждение в СССР культа личности (см. [5]). Однако эти расчеты не оправдались. Преодоление последствий культа личности, в конечном счете, привело к дальнейшему повышению международного авторитета СССР и КПСС, содействовало упрочению демократических основ в деятельности правящих партий и правительственных органов в европейских социалистических странах, укреплению народовластия.

XX съезд КПСС дал новый стимул развитию братских связей и дружественного сотрудничества между коммунистическими партиями. С осени 1947 г. до весны 1956 г. они осуществлялись, с одной стороны, через Информационное бюро коммунистических и рабочих партий, с другой — посредством контактов с партиями, не входившими в состав Инфобюро. Изменение условий работы компартий в ходе мирового революционного процесса, обогащение их опытом политической борьбы, особенности обстановки, в которой каждой из них приходилось действовать, требовали перехода к новым формам сотрудничества в мировом коммунистическом движении. Информационное бюро, в котором компартии капиталистических стран были представлены всего двумя — французской и итальянской, уже не отвечало новым историческим условиям [6].

В апреле 1956 г. центральные комитеты коммунистических и рабочих партий, входивших в состав Информационного бюро, по взаимному согласию приняли решение прекратить его деятельность. Основной формой обмена опытом и информацией между братскими партиями становились двусторонние и многосторонние контакты и встречи, совещания представителей коммунистических и рабочих партий.

14—16 ноября 1957 г. в Москве состоялось Совещание представителей коммунистических и рабочих партий двенадцати социалистических стран, 16—19 ноября — Совещание представителей коммунистических и рабочих партий 64-х социалистических и капиталистических стран мира. К этому времени, т. е. к 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции, мировое коммунистическое движение развилось в могущественную силу. Число коммунистических партий в мире увеличилось до 75, а общая численность коммунистов составляла более 33 млн человек [7].

На Совещании представителей коммунистических партий стран социализма обсуждались актуальные проблемы международного положения и борьбы за мир и социализм. Были рассмотрены также вопросы взаимоотношений между коммунистическими партиями — участниками Совещания. В единогласно принятой Декларации отмечалось, что за сорок лет социализм доказал, что он как общественная система далеко превос-

ходит капитализм. Об этом свидетельствовали большие успехи Советского Союза в области экономики, науки и техники, результаты строительства социализма в других социалистических странах [8, с. 5].

В документах Совещания указывалось на особую важность укрепления единства социалистических стран в сложившейся международной обстановке, на поддержание и развитие отношений между ними на принципах полного равноправия, уважения территориальной целостности, государственной независимости, невмешательства во внутренние дела, братской взаимопомощи. Определяющим для этих отношений является социалистический интернационализм.

Международный форум коммунистов констатировал единство взглядов коммунистических и рабочих партий по вопросам, связанным с формами и методами социалистического строительства. Было подтверждено, что их разнообразие обусловлено конкретно-исторической обстановкой в каждой стране и вместе с тем подчеркнуты общие черты и закономерности, характерные для периода строительства социализма.

Совещание отметило, что мировое развитие определяется ходом и результатами соревнования двух общественных систем. В социалистических государствах народная власть обеспечивает подлинное единство народных масс, равенство и дружбу наций, проводит в жизнь внешнюю политику сохранения мира во всем мире и оказания поддержки освободительной борьбе угнетенных народов. Растущая и крепнущая социалистическая система, — говорилось в Декларации Совещания, — оказывает все большее влияние на международную обстановку в интересах мира, свободы и прогресса народов [8, с. 5—7].

Высоко оценивая исторические решения XX съезда КПСС, Совещание коммунистических и рабочих партий пришло к заключению, что они открыли новый этап в международном коммунистическом движении, содействовали его дальнейшему развитию на основе марксизма-ленинизма. Коммунистические и рабочие партии заявили, что «ленинский принцип мирного сосуществования двух систем, получивший дальнейшее развитие в современных условиях в решениях XX съезда КПСС, является неизбежной основой внешней политики социалистических стран и надежной основой мира и дружбы между народами» [8, с. 9].

Внешнеполитический курс Советского Союза и социалистических стран на мирное сосуществование, на сохранение мира и сотрудничество между народами не находил соответствующего отклика у руководителей капиталистических держав, в первую очередь Соединенных Штатов Америки, этой цитадели международной реакции, откуда прежде всего исходила угроза войны.

Мирное сосуществование было непримлемо для военно-промышленного комплекса, наживавшегося на гонке вооружений и тесно связанного с находившимся у власти в США во второй половине 50-х годов правительством Д. Эйзенхауэра. Военщина и крупные промышленники определяли внутреннюю и внешнюю политику этого правительства, представлявшего собой «самое открытое правление монополистов в истории США» [9, с. 42].

В жертву интересам горстки монополистов приносились интересы народа и страны, — указывал видный деятель Коммунистической партии США Гэс Холл. — «В этом суть политики „холодной войны“. Ей следовало и правительство Трумэна, и правительство Эйзенхауэра» [10].

Усиливая «холодную войну», реакционные силы США надеялись осуществить так называемую «доктрину освобождения» народов социалистических стран от строя, который был ими самими избран и завоеван в революциях 40-х годов.

В конце декабря 1955 г. в опубликованном в США официальном правительственном заявлении подтверждалось, что «освобождение» социалистических стран Центральной и Юго-Восточной Европы «было, есть и остается до тех пор, пока не будет достигнут успех, основной целью внешней политики США» (цит. по: [11, с. 133]). При этом правящие круги США изображали социализм как строй, якобы чуждый большинству населения Восточной Европы, и, исходя из этой ложной установки, строили свои

планы [12]. Влиятельные деятели США (в частности государственный секретарь Дж. Даллес) предлагали действовать в отношении социалистических стран «с позиции силы». В январе 1956 г. Даллес, ссылаясь на вымышленную «угрозу советской военной агрессии», сформулировал авантюристический принцип «балансирования на грани атомной войны» [13].

Американские реакционеры полагали, что капитализм смог бы в кратчайший срок сократить «коммунистический район» до границ Советского Союза, а затем ликвидировать и СССР [11, с. 127, 129]. Стремясь к этому, империалистические круги продолжали гонку вооружений. Только с 1955 по 1957 гг. военные расходы государств — участников НАТО выросли на 11,2% [14]. На декабрьской (1956) сессии Совета НАТО были приняты новые программы увеличения вооруженных сил на 1957, 1958 и 1959 гг. с целью их «реорганизации». Сумма прямых военных расходов стран — участниц Северо-Атлантического блока увеличилась с 18,7 млрд в 1949 г. до 62,2 млрд долларов в 1959 г., то есть более, чем в 3 раза [15, с. 607]. В течение 1961 г. США четыре раза повышали свои военные ассигнования по сравнению с первоначальными наметками [16].

Общая численность вооруженных сил НАТО составляла в 1957 г. свыше 6,5 млн человек; 48 дивизий (общей численностью свыше 800 тыс. человек), представлявших собою наиболее мощную группировку из развернутых за рубежом военных сил, было выделено в распоряжение европейского главнокомандующего [17] в соответствии с американской стратегической концепцией «передового базирования».

США выступали инициатором создания новых систем оружия. Межконтинентальные стратегические бомбардировщики и атомные подводные лодки были построены в Америке в середине 50-х годов, а в Советском Союзе — только в конце 50-х годов [18, с. 7]. По плану «реорганизации» американских вооруженных сил наращивалась стратегическая авиация, увеличивалось число бомбардировщиков Б-52, Б-47 (в 1959 г. их уже насчитывалось около 3 тыс.), а также реактивных самолетов-заправщиков с тем, чтобы обеспечить возможность достижения намеченных целей в Советском Союзе и странах Центральной и Юго-Восточной Европы [9, с. 321].

Продолжалось окружение СССР и восточноевропейских стран сетью военных баз — опорных пунктов для бомбардировщиков, снабженных атомным оружием. Стратегические бомбардировщики, изготовленные в США, были переданы и английским вооруженным силам [19, 1985, 20 VI]. На сессии НАТО в декабре 1957 г. по настоянию США было принято решение о создании ракетных баз на территории Турции, Греции, Италии и других стран. Турции, в частности, Пентагон отводил роль плацдарма для ведения военных действий против Советского Союза в Закавказье и против европейских социалистических стран на Балканском полуострове [18, с. 27]. Вне пределов США за 15 послевоенных лет было создано около 270 баз, на которых находились атомные бомбардировщики [20].

В 1956—1957 гг. развертывали свою деятельность два новых военных блока, сколоченных США и Англией, — Организация договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО) и Организация Центрального договора (СЕНТО), тесно связанных с НАТО и, по существу, также направленных против СССР и других социалистических государств.

Во второй половине 50-х годов в стратегических концепциях США сохранялась установка на достижение победы в ядерной войне [18, с. 14]. В апреле 1957 г. «Правда» сообщила о помещенной в газете «New York Herald» статье, в которой доказывались преимущества безотлагательного нападения на СССР, пока США обладают превосходством в средствах доставки ядерного оружия к целям [19, 1957, 6 IV]. Главнокомандующий вооруженными силами НАТО генерал Норстэд не скрывал, что стратегия НАТО строится на применении атомного оружия [21, с. 41].

Одновременно с гонкой вооружений и размещением близ границ Советского Союза и стран Центральной и Юго-Восточной Европы военных баз Соединенные Штаты и их партнеры по НАТО форсировали наступление на социалистические страны по многим линиям. Экономическое давление до-

стигало граней торговой войны и характеризовалось всевозможными ограничениями и дискриминацией с целью вызвать, а также усилить имевшиеся трудности в развитии экономики, затормозить строительство социализма. Со все большей активностью продолжала свою деятельность Консультативная группа для координации контроля над экспортом товаров в социалистические страны (КОКОМ). Во второй половине 50-х годов она, по-существу, запретила многим западным фирмам, не говоря уже об американских, заключать сделки с внешнеторговыми организациями социалистических стран. Результаты этой политики ограничений и торговой дискриминации отражает табл. 1 (составлена на основе [22, с. 306—307]).

В июне 1958 г. Советское правительство обратилось к президенту Д. Эйзенхауэру с предложением о расширении торговли, но экономическая война против социалистических стран не прекратилась, КОКОМ то и дело блокировала уже заключенные торговые сделки.

Таблица 1

Внешнеторговый баланс США с социалистическими странами
(в млн долларов)

Годы	Экспорт		Импорт	
	всего	в социалистические страны	всего	из социалистических стран
1956	16 901	120	12 615	104
1957	18 828	230	12 978	101
1960	20 500	379	11 654	122

В результате империалистическим кругам удалось нарушить существовавшие ранее широкие экономические связи между США и социалистическими странами, в ряде случаев «заморозить» взаимную торговлю, значительно уменьшить товарооборот между социалистическим и капиталистическим мировыми рынками [22, с. 309].

«Если доля социалистических стран в мировой торговле составляет в настоящее время (начало 80-х годов. — *Г. С.*) 12%, то это не в последнюю очередь является следствием длившихся на протяжении десятилетий попыток империализма изолировать социалистические страны от мирового хозяйства и нанести им экономический ущерб» [23].

Одной из форм «холодной войны» была подрывная деятельность империалистических государств и их разведок против социалистических стран. В качестве агентов широко использовались изменники родины и эмигранты из этих стран, завербованные западными службами. Все больше средств отпускало ежегодно на это правительство Соединенных Штатов в соответствии с законом о так называемом «взаимном обеспечении безопасности» и поправкой сенатора Керстена к нему. Поправка предусматривала финансирование «любых отобранных лиц, которые проживают в Советском Союзе, Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Албании... или в любой другой стране... или лиц, бежавших из этих стран», для того, чтобы сформировать из этих лиц группы диверсантов и шпионов. «Моя поправка, — говорил Керстен, — предусматривает возможность оказания помощи подпольным организациям, которые, вероятно, имеются в этих странах или могут в них появиться. Эта помощь будет заключаться в том, чтобы осуществить прямую цель свержения нынешних правительств, существующих в указанных странах» (цит. по: [15, с. 590—591]).

В 1956 г. на шпионскую и подрывную работу против стран социализма было официально отпущено 125 млн долларов — на 25 млн больше, чем в 1955 г., а в действительности — гораздо больше, о чем писала сама американская печать [24].

Международные организации, в том числе ООН, использовались для выступлений против социалистических стран, для попыток вмешательства в их внутренние дела. Подрывная деятельность в области идеологии перерастала в «психологическую войну», в которой главным идейно-политическим оружием служил антикоммунизм.

Выступая под флагом антикоммунизма, правящие круги США и других стран НАТО нагнетали напряженность в отношениях с социалистическими странами. Включив ФРГ в НАТО, они одобряли и поддерживали «восточную политику» западногерманского правительства, возглавлявшегося канцлером К. Аденауэром, целью которой являлось «поглощение» (иными словами — ликвидация) Германской Демократической Республики. ФРГ проводила в отношении ГДР экономический бойкот, пытаясь добиться ее внешнеполитической изоляции. Одобрив «доктрину» статс-секретаря правительства Хальштейна, согласно которой единственным законным представителем немецкого народа якобы является только ФРГ, Бонн угрожал разрывом дипломатических отношений с государствами, которые осмелятся установить их с ГДР. Во исполнение этой угрозы правительство ФРГ в октябре 1957 г. порвало отношения с Югославией [25].

Руководители ФРГ продолжали выступать с территориальными претензиями к социалистическим странам, поощряли деятельность так называемых «землячеств» — организаций немцев, высланных из Польши, Чехословакии и Советского Союза. «Землячества» открыто призывали к «освобождению» восточноевропейских социалистических стран, к пересмотру их послевоенных границ, выдвигали требования «возродить германский рейх в границах 1937 г.» [26]. Программа одной из организаций «Судето-немецкого землячества», принятая в 1957 г., ясно давала понять, что вопрос «возвращения на родину» может быть разрешен насильственным путем, в результате обострения международной обстановки и военного столкновения между Востоком и Западом [27, с. 54—55]. Министр иностранных дел ФРГ фон Брентано в феврале 1957 г. заявил: «...Немецкий народ не может признать линии Одер — Нейсе за настоящую или будущую границу Германии» [27, с. 42].

Правящие круги США и других западных держав поощряли ремилитаризацию Западной Германии, содействовали воссозданию ее военного потенциала. «Дело зашло так далеко, что командование сухопутными войсками НАТО поручается бывшим гитлеровским генералам и офицерам», — говорилось в январе 1957 г. в совместном заявлении правительств СССР и Чехословакии [28].

Ускоренная ремилитаризация ФРГ и ее активизация в НАТО должны были обеспечить империалистическим державам возможность проводить в Европе политику «с позиции силы». Дж. Даллес отводил ФРГ роль выдвинутого вперед стратегического плацдарма в Центральной Европе, который «будет подрывать военные и политические позиции советского коммунизма в Польше, Чехословакии, Венгрии и в других соседних странах» [29]. В качестве члена Северо-Атлантического блока, вооружасмая с его помощью, Западная Германия становилась в Европе одной из основных сил возглавляемого Соединенными Штатами империалистического фронта против государств социализма.

Агрессивность Северо-Атлантического блока, его подрывная деятельность против социалистических стран увеличивали угрозу новой войны. Естественно, что в такой обстановке социалистические страны должны были считаться с возможностью агрессии и принимать меры для повышения своей обороноспособности.

В деле защиты завоеваний трудящихся социалистических стран от империалистических посягательств главную роль играла Организация Варшавского Договора (ОВД). Боевое содружество социалистических армий эффективно дополняло широкое экономическое, политическое и культурное сотрудничество братских государств, укрепляя их могущество и авторитет на международной арене. Армии ОВД представляли собой подлинно народные, социалистические армии, армии диктатуры пролетариата. Они строились и укреплялись при большом содействии Советского Союза, не только получая разностороннюю материально-техническую помощь, но и используя богатый опыт Советских Вооруженных Сил при подготовке офицерских кадров (см. подробнее [30]).

Во второй половине 50-х годов участники ОВД выступали как коллективный гарант безопасности европейских социалистических стран, их

независимости и суверенитета. В вооруженные силы ОВД вошли воинские соединения, выделенные ее участниками в ведение Объединенного командования вооруженными силами, которое возглавил Маршал Советского Союза И. С. Конев. При главнокомандующем был образован штаб Объединенных вооруженных сил государств — участников Варшавского Договора с местопребыванием в Москве. В соответствии с Варшавским Договором был сформирован Политический консультативный комитет (ПКК) — для взаимных консультаций и рассмотрения актуальных вопросов, связанных с осуществлением договора.

Создание Организации Варшавского Договора оказало значительное воздействие на международное положение. Осуществилось ленинское предвидение — социализм, вышедший за рамки одной страны, превратился в силу, способную оказывать «решающее влияние на всю мировую политику» [3, с. 165]. При решении важных международных вопросов, возникавших во второй половине 50-х — начале 60-х годов, ОВД являлась центром координации внешнеполитической деятельности государств — ее членов. При этом участники ОВД постоянно указывали, что «у них нет, не было и не будет иной стратегической доктрины, кроме оборонительной...» [31].

Несмотря на то, что ОВД формально является региональной организацией, ее деятельность оказывает воздействие далеко за пределами региона. Согласованность шагов и усилий социалистических стран в международных делах, их координация способствовали сдерживанию агрессивных сил. В рассматриваемый период участники Варшавского Договора провели ряд совещаний ПКК, обменивались мнениями по вопросам, связанным с развитием международных событий, рассматривали мероприятия по обеспечению мира в Европе и по всем мире.

Первое совещание ПКК состоялось в январе 1956 г. в Праге. В нем участвовали представители НРА, НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, РНР, СССР, ЧСР. На Совещании отмечалось, что агрессивные круги западных государств боятся ослабления международной напряженности, явно стремятся к поддержанию военного психоза, к продолжению «холодной войны». Своими военными программами и поджигательскими заявлениями эти круги пытались вынудить миролюбивое государство пойти на чрезмерные военные расходы, на свертывание мирного хозяйственного и культурного строительства [32, с. 16—17]. В Декларации, принятой ПКК, указывалось, что политика мира, которую проводят члены ОВД, вытекает из потребностей внутреннего развития социалистических государств, народы которых заняты выполнением планов экономического и культурного развития.

Следующее совещание ПКК состоялось в мае 1958 г. в Москве. Было отмечено, что западные державы во главе с Соединенными Штатами Америки продолжают разжигать «холодную войну», гонку атомных вооружений. Стремление США к обострению международной напряженности подтверждалось неуклонным и значительным ростом расходов на вооружение [21, с. 42]. С разоблачением опасной для мира во всем мире, для Европы, для Польши политики Атлантического блока выступил глава делегации ПНР Ю. Циранкевич. Он отметил, что ставка государств НАТО на ремилитаризацию Западной Германии, уклонение от недвусмысленного признания границы по Одере и Нейсе, поощрение сил милитаризма и ревизионизма в ФРГ — акции, угрожающие делу мира и направленные против безопасности социалистических стран. На Совещании был обсужден вопрос о необходимости сокращения вооружений и вооруженных сил как НАТО, так и Варшавского Договора, выработан проект пакта о ненападении между этими двумя военными организациями [21, с. 112, 26].

4 февраля 1960 г. в Москве на Совещании ПКК рассматривались важнейшие проблемы международной обстановки. Подчеркивалось, что прошедшие годы были отмечены новым подъемом активности всех социалистических стран, направленной на упрочение мира. Дружественные встречи и переговоры руководителей СССР, ПНР, ЧСР, ГДР, РНР и других государств — членов ОВД с руководителями таких стран, как Индия, Ин-

донезия, Бирма, ОАР, Эфиопия и других содействовали успешному развитию мирного сосуществования.

Участники ОВД согласовали свои действия, имевшие целью добиться разрядки международной напряженности, отметили, что принцип мирного сосуществования государств с различным общественным строем, усилия участников ОВД, направленные на прекращение гонки вооружений и «холодной войны», находят все более широкую поддержку народов мира [32, с. 48, 63].

ПКК сообщил, что со времени своего основания Организация Варшавского Договора сократила общую численность вооруженных сил стран-участниц. Мероприятия же НАТО были направлены на активизацию военных приготовлений и наращивание вооруженных сил и вооружений [32, с. 55].

В конце марта 1961 г. на очередном Совещании ПКК члены ОВД снова вынуждены были констатировать, что оздоровлению международной обстановки по-прежнему препятствуют агрессивные круги на Западе. Учитывая новые военные приготовления западных держав, участники ОВД договорились о мерах, необходимых для укрепления своей обороноспособности [32, с. 63—66].

Совещание ПКК приняло Декларацию, подчеркивавшую, что мирные условия развития европейских народов могут быть лучше всего обеспечены созданием системы коллективной безопасности в Европе, которая пришла бы на смену всем военным группировкам. Социалистические страны выражали готовность вместе с другими заинтересованными государствами рассмотреть соответствующие предложения [32, с. 13—20].

Таким образом, акты Организации Варшавского Договора в 1956—1961 гг. подтверждали ее оборонительный характер, стремление предотвратить новую мировую войну. Учитывая наличие военного блока НАТО, европейские социалистические страны содействовали совершенствованию деятельности ОВД, решавшей с самого начала задачи коллективной обороны против агрессивных устремлений империализма, совместной борьбы за прочный мир и расширение международного сотрудничества. Самым фактом своего существования ОВД создавала благоприятные условия для развертывания строительства социализма в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, так как надежнее, чем сумма двусторонних договоров, гарантировала их безопасность и неприкосновенность границ. Следует отметить также и то, что бремя военных расходов, которые вынуждены были нести участники ОВД, облегчалось тем, что главную тяжесть дорогостоящей модернизации боевой техники своих союзников взял на себя Советский Союз. Переоснащение армий союзных стран шло в то время в основном за счет поставок боевой техники и вооружения из Советского Союза. Им составлялись современные танки, артиллерийское и авиационное вооружение и другие виды военной техники, которые использовались в Советских Вооруженных Силах [33].

Приведем только пример Польши — он характерен и для других стран — членов ОВД (см. подробнее [30]). В середине 50-х годов на вооружении Войска Польского находились боевая техника и оружие в большинстве своем советского производства, в том числе знаменитый танк Т-34. В 1956 г. польские предприятия на базе советских лицензий наладили производство новейшего для того времени танка 54-а, с 1958 г. СССР стал поставлять плавающий танк ПТ-76.

В 1956—1960 гг. польская военная авиация получила на вооружение девять типов боевых реактивных самолетов советского производства. Военно-морской флот пополнился за эти годы эсминцами, катерами, построенными в СССР [30, с. 178]. Только в декабре 1957 г. в порту Гдыня состоялась передача Польше пяти военных кораблей [34].

СССР не только поставлял союзникам по ОВД новые виды оружия, но и передавал документацию для налаживания их производства, проводил совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы [35]. Унификация вооружения на базе советской военной техники повышала боевую мощь вооруженных сил стран ОВД.

Военное сотрудничество европейских стран с Советским Союзом в рамках Организации Варшавского Договора следует расценивать как новый важный фактор, способствовавший успешному строительству социализма в этих странах во второй половине 50-х — начале 60-х годов. Организация Варшавского Договора уже с первых лет своего существования способствовала выработке совместной внешнеполитической стратегии социалистических стран, осуществлению практических актов, направленных на улучшение внешнеполитической обстановки, ослабление международной напряженности.

Одним из важнейших факторов, обеспечивавших укрепление социализма к началу 60-х годов, был процесс всестороннего сближения Советского Союза и социалистических стран, расширение и углубление сотрудничества между ними в духе дружбы и взаимопонимания. Марксистско-ленинские партии, правительства стран социализма стремились содействовать более тесному сплочению стран мировой системы социализма на основе социалистического интернационализма. Экономические отношения между социалистическими странами все более расширялись и углублялись. В рамках данной статьи нет возможности привести подробные данные об этих отношениях за вторую половину пятидесятых годов. Отметим только, что в декабре 1959 г. в Софии был подписан Устав СЭВ, определивший его главную цель — развивать всестороннее экономическое сотрудничество на основе последовательного осуществления принципов международного социалистического разделения труда в интересах построения социализма и коммунизма в странах—членах СЭВ и обеспечения устойчивого мира во всем мире [36].

Товарищеская взаимопомощь, характерная для принципиально новых межгосударственных отношений, являлась основой и экономических отношений между странами—членами СЭВ. Помогая друг другу, социалистические страны препятствовали попыткам империализма затормозить их экономический рост (см. подробнее [37]).

Итак, вторая половина 50-х — начало 60-х годов были временем, когда напряженность международной обстановки сменялась некоторым ослаблением, вслед за которым снова усиливалась «холодная война». События в Польше, в Венгрии, внешнеполитические акции ФРГ показали, что международный империализм прилагает огромные усилия, чтобы подорвать социализм изнутри, организовать экспорт контрреволюции в страны социализма. Вместе с тем тогда же стала очевидной тщетность империалистических попыток добиться успеха «политики освобождения», сорвать неуклонное продвижение стран по социалистическому пути. Запуск Советским Союзом искусственных спутников Земли, осуществленный с помощью межконтинентальных баллистических ракет, подорвал самые основы политики «с позиции силы».

ЛИТЕРАТУРА

1. Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза. М., 1986.
2. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 7. М., 1971.
3. Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 41.
4. Интернациональное сотрудничество КПСС и КНР. История и современность. М., 1984, с. 308.
5. Яковлев Н. П. ЦРУ против СССР. 4-е изд. Испр. и доп. М., 1985.
6. История Коммунистической партии Советского Союза. Т. 5, кн. 2 (1945—1959 гг.). М., 1980, с. 513—514.
7. История международного и национально-освободительного движения. Ч. IV. М., 1978, с. 8.
8. Программные документы борьбы за мир, демократию и социализм. М., 1964.
9. Яковлев А. Н. От Трумэна до Рейгана. Доктрины и реальности ядерного века. 2-е изд. М., 1985.
10. Холл Гэс. Покончить с «холодной войной». М., 1963, с. 6.
11. Орлик И. И. Империалистические державы и Восточная Европа. 1945—1965. М., 1968.
12. Современная внешняя политика США. Т. 2. М., 1984, с. 186—188.
13. Kissinger H. A. Nuclear Weapons and Foreign Policy. New York, 1957, p. 377.
14. Международные отношения после второй мировой войны. Т. 3. (1956—1964 гг.). М., 1965, с. 297.

15. *Иноземцев Н. Н.* Внешняя политика США в эпоху империализма. М., 1960.
16. Международный ежегодник. Политика и экономика. Вып. 1962 г. М., 1962, с. 387.
17. Международный политико-экономический ежегодник. 1958 г. М., 1958, с. 579.
18. Откуда исходит угроза миру. 3-е изд. М., 1984.
19. Правда.
20. *Дмитриев Б.* Пентагон и внешняя политика США. М., 1961, с. 184.
21. Материалы Совещании Политического Консультативного комитета государств — участников Варшавского договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. М., 1958.
22. *Костюхин Д. И.* Внешнеэкономическая политика США. М., 1963.
23. Социализм и перестройка международных экономических отношений. Под ред. акад. О. Т. Богомолова. М., 1982, с. 26.
24. *Яковлев Н. Н.* Новейшая история США. 1917—1960. М., 1961, с. 570—571.
25. *Аникеев А. С.* Югославия и доктрина Халыштейна.— Вопросы истории, 1975, № 6, с. 206—212.
26. *Милюкова В. И.* Дипломатия реванша. Внешняя политика ФРГ в Европе. М., 1966, с. 146, 185.
27. Германский реваншизм — угроза миру. М., 1960.
28. Советско-чехословацкие отношения. 1945—1960. М., 1972, с. 303.
29. *Dalles G.* War or Peace. New York, 1950, p. 156—157.
30. Строительство армий европейских стран социалистического содружества. 1949 — 1980. М., 1984.
31. Четверть века совместной борьбы за дело мира, социализма и коммунизма. Совещание Политического Консультативного комитета государств — участников Варшавского договора. Варшава, 14—15 мая 1980 г. М., 1980, с. 21.
32. Организации Варшавского Договора. Документы и материалы. 1955—1980. М., 1980.
33. *Куликов В. Г.* Коллективная защита социализма. М., 1982, с. 79.
34. Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. XI. Январь 1956 г.— декабрь 1960 г. М., 1983, с. 165.
35. *Гречко А. А.* Вооруженные силы Советского государства. М., 1975, с. 425—427.
36. Основные документы Совета Экономической Взаимопомощи. Т. 1. 3-е изд., доп. М., 1976, с. 9.
37. *Фадеев Н. В.* Совет Экономической Взаимопомощи. М., 1974.



Испович Никола

ЮГОСЛАВЯНСКОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ (1914—1918)¹

Югославянское добровольческое движение во время первой мировой войны (1914—1918) по своим причинам и целям восходит к национально-освободительным движениям южных славян более раннего периода, основная фаза которых пришлась на XIX в., а решающая, успешная развязка — на первую мировую войну. Поэтому оно явилось только продолжением, частью процесса национального освобождения югославян. Его более непосредственное определение могло бы состоять в том, что оно являлось прямым продолжением деятельности довоенного югославянского национально-революционного оmlадинского движения, а еще конкретнее добровольческое движение представляло собой составную часть истории участия югославянских народов в первой мировой войне, конечным историческим результатом которой было создание югославянского государства в 1918 г.

С исторической точки зрения югославянское добровольческое движение представляло собой целостное явление независимо от того, в каких слоях оно возникло и развивалось, независимо от того, что оно не было воедино связано организационно, независимо от того исторического факта, что оно никогда не стало политическим субъектом. Оно является целостным по причинам его возникновения (как национально-освободительное), по национальной однородности его участников и, что самое важное, по его конечной исторической цели.

Для того, чтобы как можно лучше проследить размах добровольческого движения, необходимо сразу же подчеркнуть, что разные политические субъекты югославянского, русского и союзнического происхождения отнесли к добровольцам в соответствии со своими краткосрочными и долгосрочными военными целями, что мы и попытаемся показать в данной статье.

Вопрос определения периодизации любого исторического процесса (события) предполагает необходимость его тщательного раскрытия как

¹ Архивная документация о добровольцах в основном находится в югославянских и советских архивах, а также, конечно, ценные документы есть и во французском и британском дипломатических архивах. Основной архивный фонд Добровольческого корпуса сербов, хорватов и словенцев хранится в архиве Военно-исторического института в Белграде. Много ценных документов находится в том же архиве в фонде сербского Верховного командования. В Дипломатическом архиве секретариата по иностранным делам в Белграде хранится архив сербского министерства иностранных дел, в котором находится большое число содержательных документов о добровольцах. При исследовании указанной темы нельзя обойти также Архив Югославии (фонд Й. Йовановича-Пижона), архив Югославянской академии наук и искусств (фонд А. Трумбича) и Архив города Загреба (коллекция «Диссидентское движение в России»). Из советских архивов материал о добровольцах хранится в ЦГВИА и ЦГАОР. Часть архивных материалов опубликована в сборнике документов [1]. Литературу см. в [2].

в деталях, так и в целом, чтобы можно было увидеть переломные моменты, за которыми непременно следуют качественные изменения. Периодизация всех составных частей добровольческого движения возможна, но в данный момент не пужна. Что на сей раз следует понять, имея в виду смысл настоящей работы, — так это те события, которые существенно влияли на добровольческое движение, в какой бы среде оно ни развивалось. Таким рубежом событием, по нашему мнению, было поражение Сербии в войне против Германии, Австро-Венгрии и Болгарии в конце 1915 г. Это событие, сколь болезненно оно ни отозвалось среди сербов, хорватов, черногорцев, словенцев и чехов — приверженцев разрушения Австро-Венгрии, в то же время поставило под вопрос всеобщие военные цели, тайные надежды отдельных личностей и оживило страх перед возможной, близкой победой Центральных держав. Но вместо малодушия и отчаяния заговорили инстинкты самосохранения; усилилась воинственность и готовность на лично-добровольной основе внести вклад в борьбу против общего врага. А сербские военные и политические круги, как и ее правители, после отхода с остатками армии на Корфу поняли, что пополнение, обновление и восстановление военной силы Сербии может быть достигнуто больше всего с помощью югославянских добровольцев, где бы они ни находились. Союзные державы были заинтересованы в том, чтобы усилить сербскую армию во всех отношениях, ибо тем самым они увеличивали военный потенциал, направленный против Центральных держав, и они рассчитывали, что таким образом их участие на Салоникском фронте будет меньшим в той мере, в какой сербская армия будет более многочисленной. Отсюда, как мы увидим, с января 1916 г. начинаются интенсивный набор и организация югославянских добровольцев прежде всего в России, а затем с помощью держав Антанты и в заморских странах.

Политика геноцида по отношению к сербскому народу в Боснии и Герцеговине, проводившаяся Австро-Венгрией сразу же после сараевского покушения, а также аресты, преследования и всевозможные издевательства над политическими деятелями, интеллигенцией и учащимися в остальных югославянских землях, находившихся под властью Габсбургов, не благоприятствовали народным движениям. С началом войны против Сербии в 1914 г. Австро-Венгрия повела и политику контрреволюции, чтобы сделать невозможным любой народный бунт и движение против нее. Такая политика затормозила и возможное более массовое бегство в Сербию, чем был предотвращен и больший прилив добровольцев. Но это ни коим образом не значит, что патриоты, антиавстрийски настроенные люди сидели сложа руки. Если не было условий для организации движения, восстания или партизанской борьбы большего размера в своем родном крае и если было невозможно организованное бегство большего числа людей в Сербию, то оставалось желание добраться до сербской армии и в ее рядах бороться за освобождение.

Жители Боснии и Срема, в самом начале войны перебравшиеся в Сербию или случайно оказавшиеся там, стали и первыми добровольцами. Причем не только в том смысле, что сформировали добровольческие отряды, но и в том, что участвовали в первых боях против австро-венгерских агрессоров. Дальнейшей организации и стабилизации добровольческих отрядов, пополнявшихся перебежчиками с австрийской стороны, гражданами Королевства Сербии из числа освобожденных от воинской повинности, а позднее югославянами-военнопленными, захваченными сербской армией, способствовали живой опыт балканских войн (1912 — 1913) и готовность сербских властей взять добровольцев под свой присмотр и пощечение. Уже на первом месяце войны 1914 г. сербские военные власти составили инструкции об организации и способе действий четнических и добровольческих отрядов. Согласно инструкции сербского военного министра от августа 1914 г., составленной подполковником Драгутином Димитриевичем-Аписом, главой разведывательного отдела сербского генерального штаба, являвшегося руководителем тайного офицерского общества «Объединение или смерть» («Черная рука»), задачей четнических отрядов в случае наступления был переход на вражескую территорию,

чтобы послужить «ядром для развертывания народного восстания в областях, населенных сербами». Из инструкции о формировании добровольческих отрядов, разработанной в сербском военном министерстве в середине октября 1914 г., мы узнаем, что в целях создания легко вооруженных подвижных войск, способных на самостоятельные действия, образуются добровольческие отряды. Предусматривалось, что эти отряды будут постоянно держать связь с действующей армией, и их задачи заключались в следующем: 1) с помощью оружия и средств разрушения создавать у противника хаос и замешательство; 2) поднимать восстания среди вражеского населения и 3) выполнять вспомогательные задания и во время затишья в ходе операций действующей армии, чтобы у нее были условия для отдыха и восстановления сил. Из приведенного уже можно видеть, что добровольцы не представляли собой самостоятельной силы ни в политическом, ни в военном отношении. С другой стороны, исторические источники не содержат данных о том, что имелись тенденции противоположного рода.

В ходе военных операций 1914 г. в составе сербской армии действовали Златиборский, Ядарский, Рудницкий и Горнякский добровольческие отряды. Самоотверженность и беззаветная борьба характеризовали добровольцев. Ядарский отряд, половину которого составляли выходцы из Боснии и Герцеговины, участвовал в боях на Лешнице, Цере, Тршиче и Гучеве. Потери отряда превышали 60%. Рудницкий отряд в первый день взорвал мост через Саву, а затем был перемолот в боях у Крупани, Лозници, Любовии, Преслапа и Валева. Златиборский отряд также был уничтожен в операциях у Хан-Пиесака, Меджеджи и Лесковой Горы.

Вопрос о добровольцах и их участие в операциях сербской армии против Австро-Венгрии в 1914 г. составляют целую главу в истории добровольческого движения, еще недостаточно разработанную в науке. Нисколько не лучше обстоит дело с событиями и проблемами 1915 г., как теми, что относятся к периоду до нападения Болгарии на Сербию, так и теми, что имели место в период продолжения войны Сербии против Австро-Венгрии, Германии и Болгарии в конце 1915 г. Создается впечатление, что сербские военные и гражданские власти в течение 1915 г. не проявляли особого интереса к добровольцам. Причина этого, вероятно, лежит в их предположениях о краткосрочном характере войны, в еще достаточной силе сербской армии и в известной сдержанности в отношении добровольцев, принимая во внимание международное право.

Организованного набора добровольцев в разных частях мира и в различных общественных слоях, о котором мы упоминали, в 1915 г. не было. Исключение составляет набор и последовательная переброска в Сербию около 3500 добровольцев из России. Тем не менее добровольческие ряды в Сербии были усилены вступлением военнопленных — бывших австро-венгерских военнообязанных славянского происхождения, прибытием небольших самодеятельных групп добровольцев из Северной Америки и отдельными перебежчиками из уроженцев Боснии и Срема. Большинство добровольцев в 1915 г. было сведено в 1-й и 2-й добровольческие батальоны, а некоторое число было включено в сербские войска и жандармерию.

В войне Сербии против Австро-Венгрии, Германии и Болгарии осенью 1915 г. участвовали и добровольцы. Судьбу сербской армии, отступавшей перед превосходящим противником, разделили и югославянские добровольцы. И когда казалось, что все уже потеряно, что на очереди отступление через Албанию (что и произошло), — тут появились перебежчики и дезертиры из вражеской, наступавшей армии и просили, к изумлению сербских офицеров и солдат, принять их добровольцами. Разумеется, это явление имело более чем скромные размеры, но оно было потрясающим свидетельством того, до какой степени ненавистна была Австро-Венгрия и сколь велико было желание участвовать в войне против нее в рядах сербской армии.

Понеся большие потери, добровольцы с остальной сербской армией отступили через Албанию, опять-таки с большими жертвами, на остров Корфу. После восстановления сил они сформировали Добровольческий отряд и батальон сербов-добровольцев. В операциях сербской армии на

Салоникском фронте в 1916 г. участвовали и упомянутые добровольческие части. При этом нужно заметить, что сербские военные власти пришли к выводу о необходимости беречь и наращивать добровольческие формирования, чтобы в случае успешного наступления использовать их и для решения национальных и политических вопросов. Это было одной из главных причин будущей более активной заинтересованности сербского правительства в привлечении добровольцев по всему миру.

Однако, несомненно, самая важная причина заинтересованности сербского правительства и верховного командования в югославянах-добровольцах проистекала из того факта, что сербские действующая армия осталась без источника пополнения. Всесторонне анализируя эту проблему, сербские гражданские и военные власти отметили следующие источники, из которых можно было бы получить людскую силу для пополнения и восстановления своей армии:

«1. Включение в армию лиц, освобожденных в ходе войны от военной службы ввиду различных служебных функций, выполнявшихся ими в армии внутри страны и прекратившихся с эвакуацией,— разумеется, если такие лица эвакуировались вместе с армией.

2. Чистка тыловых учреждений и направление из них в действующую армию людей, годных для этого.

3. Повторный осмотр тех, кто до сих пор числились постоянно и временно негодными к военной службе, и призыв до сего времени не призванных среди наших подданных, беженцев за границей.

4. Проведение призыва среди югославян, находящихся в качестве эмигрантов в союзных и нейтральных государствах, но пользующихся защитой сербского государства.

5. Рекрутирование добровольцев из югославян среди взятых нами австрийских военнопленных и в союзных государствах, а особенно в России и Италии.

6. Рекрутирование добровольцев среди югославян в Америке, Австралии и Новой Зеландии, переселенцев из Австро-Венгрии и других югославянских земель.

7. Призыв на вновь занятой части нашей территории, если противник их не устранил, лиц, пригодных для какой-либо службы в армии».

Как видно из приведенного, сербским военным и гражданским властям предстояли организация и набор добровольцев в России, Америке, Австралии и Италии.

Добровольческое движение в России до июля 1916 г. уже прошло через свои, по нашему мнению, две начальные фазы. Первая фаза длилась от начала войны в августе 1914 г. до октября 1915 г., а вторая — с октября 1915 до июля 1916 г. Сразу же следует сказать, что первая фаза недостаточно известна в исторической науке. Для более всестороннего и глубокого изучения возникновения добровольческого движения и начала образования добровольческих воинских частей в России необходимо проведение исследований в до сих пор только частично использованных советских архивах, в которых хранится документация о славянах-военнопленных (1914—1916). Слабо также использованы документы Одесского и Киевского военных округов (1914—1916), в чьем непосредственном ведении было формирование добровольческих частей. Мы предполагаем, что в архивах русских лагерей для военнопленных могут быть найдены ценные документы (например, протоколы допросов, письма), из которых бы было видно, какими способами удавалось сдаваться в плен и какие мотивы и причины выдвигались в просьбах об освобождении и направлении в сербскую армию.

Упомянутая первая фаза характерна самостоятельным, стихийным, непобуждаемым добровольческим движением сербов, хорватов, словенцев и чехов-военнопленных, бывших австро-венгерских военнообязанных. Они были теми, кто среди первых сдались или перебежали к русским, демонстрируя таким образом свои антиавстрийские настроения. Несомненно, уже тогда у многих из этих молодых людей было целеустремленное желание добраться до Сербии, вступить в ее армию и тем самым помочь ей в ее

оборонительной войне против габсбургской монархии — войне, которая должна была также разрушить это устаревшее государственное образование и открыть возможность свободной национальной и государственной жизни его угнетенных народов. Самым красноречивым доказательством стихийности добровольческого движения является около 19 700 писем, посланных югославянами-военнопленными в России сербскому посланнику в Петрограде М. Спалайковичу. В письмах была выражена лишь одна просьба: освобождение из лагерей для военнопленных и направление в сербскую армию.

Сербское правительство, получив известие о готовности и желании большого числа югославян-военнопленных в России бороться в рядах его армии против общего врага, договорилось с российским правительством, чтобы сербская военная миссия с помощью российских властей вела работу по освобождению добровольцев и направлению их в Сербию. Так, 24 июля 1915 г. из Ниша в Россию была послана миссия, состоявшая из М. Компеневича, Д. Семиза, С. Миличича, Б. Рукавины и М. Голубича. Результаты деятельности этой миссии, вероятно, вследствие кратковременности ее функционирования, были скромными. С конца августа до 14 октября 1915 г. миссии удалось послать в Сербию около 3500 добровольцев. Вступление Болгарии в войну на стороне Центральных держав (15 октября 1915 г.) прервало работу названной миссии и существенно повлияло на поиск новых путей и возможностей организации югославянских добровольцев и их участия в войне.

С этого момента югославянский добровольческий вопрос вступает во вторую фазу (октябрь 1915 — июль 1916 г.). Эта фаза характерна не только своими внутренними особенностями, но прежде всего чисто военно-организационными успехами — формированием добровольческих воинских частей от роты до дивизии. Поскольку в результате вступления Болгарии в войну был закрыт единственный путь (Дунай) между Россией и Сербией, стала невозможной и транспортировка добровольцев. В этой обстановке возникла идея организации добровольческой роты в Одессе. Идея исходила от А. Чирковича, богатого сербского торговца в Одессе, а подхватили ее и М. Цемович, сербский консул в Одессе, и М. Шайпович, делегат сербского правительства по закупке продовольствия в России. От идеи о формировании роты дело быстро дошло до понимания того, что возможна организация и более значительной воинской части. Разумеется, одновременно было ясно, что это невозможно сделать без согласия и помощи российского правительства. Согласие и поддержка, моральная и материальная, со стороны России, и при этом от наивысшей инстанции, были получены быстро: 19 октября 1915 г. на состоявшейся в Одессе аудиенции у русского царя Цемович получил обещание, что добровольческому отряду будет «дано все, что необходимо». А когда русский царь узнал о саботировании эвакуации сербов с албанского побережья на остров Корфу, он послал известную телеграмму английскому королю и президенту Франции Пуанкаре, в которой заявил, что разорвет союз, если сербская армия не будет спасена. Вопрос о страданиях и спасении сербской армии в Албании и вопрос о формировании новой, добровольческой сербской армии в России на русские средства встали перед русским царем одновременно. Положительное решение второго находилось в причинной связи с первым вопросом.

Дело в том, что Н. Пашич, председатель сербского правительства, послал 15 января 1916 г. всем сербским дипломатическим представительствам отчаянную телеграмму о поведении Италии, т. е. о саботировании эвакуации сербской армии. Телеграмма прибыла в Петроград в момент, когда Спалайкович и Цемович заканчивали ноту от имени сербского правительства российскому правительству и Ставке об организации добровольцев. Они сразу же решили передать Ставке телеграмму Пашича и ноту. Таким образом оба документа, в которых говорилось о страданиях и гибельном положении сербской армии в Албании и о формировании новой армии в России, 19 января были вручены русскому царю. Царь немедленно послал упомянутую телеграмму английскому королю и Пуанкаре.

В ноте о добровольцах содержались следующие просьбы:

«1) чтобы все расходы по формированию, снабжению и содержанию Отряда до момента его соединения с нашей армией были отнесены за счет русских военных расходов;

2) чтобы все пленные югославыне, желающие вступить в Отряд, направлялись в Одессу, а все без различия пленные сербы, хорваты и словенцы были сгруппированы в одной из центральных русских губерний;

3) чтобы временное командование Отрядом было поручено майору Ж. Пейовичу под наблюдением нашего военного атташе Лонткиевича;

4) чтобы местные власти опирались на Цемовича во всех вопросах политического характера и

5) чтобы Отряд был поставлен под верховную власть начальника Одесского военного округа генерал-губернатора генерала Эбелова».

Через несколько дней по всем названным выше пунктам было принято положительное решение. На соответствующем представлении, которое было ему подано его военным министром, царь написал: «Если сербы хотят бороться против Австрии, я одобряю это предложение».

Таким образом с русской стороны были приняты решения об организации югославянских добровольческих формирований. Далее вопросом времени, организационного умения и сотрудничества с компетентными русскими военными властями было то, сколько и когда будет оформлено и снаряжено добровольческих частей. Так до конца января 1916 г. был сформирован 1-й полк Сербского добровольческого отряда. Указом сербского Верховного командования от 24 февраля 1916 г. командиром 1-й сербской добровольческой дивизии был назначен полковник С. Хаджич. Хаджич с большой группой офицеров прибыл в конце апреля в Одессу, где застал 9733 добровольца.

Приказом Хаджича № 19 от 29 апреля 1916 г. была официально оформлена 1-я сербская добровольческая дивизия. Запасный батальон 1-й сербской добровольческой дивизии был образован приказом Хаджича № 219 от 27 июня, а реальная деятельность началась 5 июля 1916 г.

Возникновение упомянутых добровольческих формирований протекало не совсем гладко. При этом мы имеем в виду не только организационные и материальные трудности оснащения, но прежде всего появившиеся психологические и политические проблемы. Добровольческий энтузиазм, а отчасти и романтизм с трудом мог примириться с представлением сербских офицеров об устройстве армии, о ее деятельности и порядке в ее рядах. Происходили недоразумения и вследствие сурового и оскорбительного отношения отдельных офицеров к добровольцам, к их семейным, национальным и религиозным чувствам. Добровольцы принесли с собой самоотверженность, энтузиазм, идеалы и представления о новом, справедливом общем государстве. А что принесли с собой офицеры? Как свидетельствует сам Цемович, «наши офицеры с Корфу внесли в отряд две вещи: казарменную дисциплину и сербскую исключительность». Это были зачатки болезни, которая распатает затем Добровольческий корпус, превратит часть добровольцев в противников корпуса, а все это отравит позднее политическую жизнь в югославском государстве (1918—1941).

На дальнейшее развитие добровольческого движения и образование добровольческих частей в России повлияли, несомненно, победоносное русское (Брусиллов) наступление против австро-венгерских сил на Юго-Западном фронте в июне 1916 г. и вступление Румынии в войну на стороне держав Тройственного соглашения в августе 1916 г. Следствием первого из событий было появление большого числа перебежчиков и военнопленных славянского происхождения из австрийской армии. Этим в значительной мере объективно расширен источник и усилена основа добровольческого движения, а одновременно это привело к воодушевлению, энтузиазму и уверенности в том, что конец Австро-Венгрии совсем близок. Все это очень благоприятно отразилось на приливе добровольцев и усилении добровольческих частей.

Вступлением Румынии в войну было ускорено начало непосредственного участия добровольцев в боевых операциях, причем на том направле-

нии, которое не отвечало надеждам и желаниям добровольцев появиться на родине в качестве освободителей. А именно — по договору Антанты с Румынией о вступлении последней в войну Россия обязывалась силами одного корпуса содействовать операциям румынских войск в Добрудже. В результате по распоряжению Ставки и с согласия сербского правительства и Верховного командования 1-я сербская добровольческая дивизия была включена во вновь образованный русский 47-й корпус, который был определен для операций в Добрудже.

В середине августа 1916 г. дивизия была сконцентрирована в Рени и насчитывала 625 офицеров, 35 чиновников, 17 232 унтер-офицера и рядовых, 1842 лошади и 56 пулеметов. Снаряженность дивизии для боев была слабой. Отсутствовали обоймы для винтовочных патронов, тягловая сила для походных и боевых обозов, не было инженерной роты, колонны боеприпасов, лошадей для подразделений конной разведки, не было горно-артиллерийского дивизиона. Пополнение всем упомянутым осуществлялось уже в самом ходе боевых операций.

Бои в Добрудже против германо-болгарских войск, которыми командовал германский фельдмаршал Макензен, продолжались с конца августа до конца октября 1916 г. В общей сложности дивизия участвовала в военных действиях 34 дня. По своей физической и моральной готовности 1-я сербская добровольческая дивизия представляла собой элитное формирование. Тем не менее в ходе боев против превосходящего противника как по численности, так и по вооружению, львиного сердца было недостаточно. Сцены борьбы между кавалерией и добровольцами, которые голыми руками выбивали всадников из седла, являются беспримерными в истории войн. К сожалению, героическая и достойная восхищения борьба добровольцев и большие жертвы не могли быть использованы, ибо германо-болгарские войска легко нанесли поражение неопытной румынской армии, что отразилось и на остальных частях фронта. Считается, что 1-я добровольческая дивизия имела около 8000 (50%) выведенных из строя (убитые, раненые, пропавшие без вести).

Последствия поражения в Добрудже были разносторонними — и отрицательными, и положительными. Не углубляясь здесь в их анализ, нужно указать только то, что героическая борьба добровольцев в еще большей мере открыла путь их более эффективному привлечению. Ибо после описанного выше поведения добровольцев в Добрудже ощутимо вырос их престиж среди сербских офицеров и русских гражданских и военных властей. Все это облегчало конкретную работу по созданию и снаряжению новых добровольческих частей. После того, как указом сербского Верховного главнокомандующего (секретно, ФА № 1389) от 26 июля 1916 г. был формально образован Сербский добровольческий корпус во главе с генералом Михаилом Живковичем, началось создание 2-й сербской добровольческой дивизии. В образовании этой дивизии был особенно заинтересован русский царь. И стремясь использовать как раз царскую благосклонность, члены Югославянского комитета М. Ямбришак, Ф. Поточняк и некоторые офицеры-добровольцы предложили провести принудительную мобилизацию югославян-военнопленных. Предложение было принято командованием Корпуса и командующим Одесским военным округом генералом Марксом. В результате мобилизации в Одессу было прислано около 20 тыс. военнопленных (9000 хорватов, 7000 сербов и 4000 словенцев), из которых многие вовсе не хотели вступать в добровольцы. Предположение Ямбришака и Поточняка, что с помощью агитации, пропаганды, политико-воспитательной работы удастся сделать их добровольцами, оправдалось только частично. Таким образом уже в самом начале дело со 2-й дивизией пошло неудачно, что позднее, весной 1917 г. отразится во время кризиса в корпусе. Из упомянутых 20 тыс. военнопленных, согласно одному из источников, около половины были кое-как организованы во 2-ю дивизию, а остальные, так же как и колеблющиеся добровольцы, были возвращены в плен — в лагеря для военнопленных. Таким способом дивизия была до некоторой степени консолидирована. Этим было окончательно завершено формирование добровольческих частей в России.

Штаб Сербского добровольческого корпуса и югославянские политические деятели в Одессе, интенсивно занимавшиеся добровольцами, этого не создавали. Это видно из того, что в конце 1916 и в начале 1917 г. они планировали образование еще двух корпусов, в которые были бы сведены почти все пленные югославы в России. Были предприняты практические шаги в целях осуществления указанного плана, но, как известно, русская Февральская буржуазно-демократическая революция пресекла дальнейшую деятельность больших размеров по рекрутированию добровольцев в России. Причем нужно сразу сказать, что ни сербское правительство, ни югославянская политическая эмиграция в течение 1917 и 1918 гг. не отказались от привлечения добровольцев ни на словах, ни на деле. Результаты всех этих усилий были очень скромными.

Если смотреть с практической и исторической точки зрения, то после Февральской революции на первый план выдвинулись два крупных жизненно важных вопроса относительно самого Сербского добровольческого корпуса и всех добровольцев. Это были кризис корпуса (диссидентское движение, т. е. выход добровольцев из корпуса) и вопрос об участии добровольческих частей в боевых действиях на Румынском фронте.

С Февральской революцией в России размах добровольческого движения и добровольческая проблематика расширяются, усложняются и ставят историков перед более трудными задачами. Прежде всего нужно понять ту новую историческую среду, которая была создана свержением монархии и царского самодержавия в России, а затем выяснить все воздействия, влияния и последствия русской революции на сознание добровольцев, понимание ими новых политических событий и перемен и в итоге выяснить, как добровольцы оценивали исход войны. Все это во многом определяло их поступки и в конечном счете разделило их на диссидентов и на тех, кто остался верен своей основной идее — борьбе в составе сербской армии против Австро-Венгрии, за национальное освобождение любой ценой.

Февральская революция объективно ослабила роль России в войне, а тем самым были серьезно поставлены под вопрос и шансы Антанты на победоносное окончание войны. В русской армии быстро падала дисциплина, усиливалась антивоенная пропаганда, появилось братание на фронте и участилось дезертирство. Новой революционной, буржуазно-демократической власти, как ни стремилась она продолжить войну и довести ее до успешного окончания, не удавалось вернуть порядок в армии и подготовить последнюю к победоносному наступлению. Свидетелями разрушения дисциплины в русской армии были добровольцы. В добровольческие ряды и лагеря начали заглядывать солдаты-фронтовики и члены рабочих, крестьянских и солдатских советов. Их антивоенная пропаганда с позиций различных политических идей усиливала политизацию не только офицеров-добровольцев, но отчасти и солдатской добровольческой массы. В среде добровольцев помимо русских агитаторов появились также австро-германские и итальянские агенты, целью которых было не только расстроить корпус в военном отношении, но и политически скомпрометировать сотрудничество сербов, хорватов и словенцев, нарушить его и тем самым извлечь политическую выгоду в борьбе против объединения южных славян, противоречившего интересам указанных держав. Естественными союзниками последних были в этом деле хорватские и словенские сепаратисты. Все это деморализующе влияло на добровольцев. Потеря веры в победу над Австро-Венгрией загоняла их в тупик и в общеполитическом плане, и в плане их личной судьбы.

Не углубляясь здесь дальше в анализ внутренних причин кризиса, о которых мы сделали предварительно несколько замечаний, укажем, что, на наш взгляд, причины кризиса могут быть разделены на психологические, материальные и политические и что все они одновременно усилены деятельностью внешних, вражеских факторов, которым политическое положение, созданное русской революцией, облегчало работу. Не нужно забывать, что Добровольческий корпус рассматривался как дело русского

царя, самодержавия, могущее в данный момент сыграть контрреволюционную роль. Поэтому корпус не пользовался благосклонностью Советов.

При рассмотрении так называемого диссидентского движения, т. е. выхода из корпуса (кризиса его) следует заметить, что события развивались параллельно в офицерских (добровольческих) и солдатских (добровольческих) рядах и не были связаны между собой. Так, на одном из офицерских митингов в Одессе были сформулированы следующие требования:

1. Корпус должен называться Югославянским и соответственно этому должны воспитываться все офицеры и солдаты без различия. Затем, материальные условия офицеров, откуда бы они ни попали в корпус, должны быть уравнены, что относится и к солдатам; сербские эмблемы следует заменить югославянскими, а если это невозможно, то пусть равноправно употребляются сербские, хорватские и словенские; нужно уравнивать кириллицу и латиницу и направлять офицерам и добровольцам акты и письма на латинице.

2. Следует отделить хорватских и словенских солдат от сербских и сформировать отдельные полки с офицерами той же национальности.

3. Не должны смешиваться католики и православные.

4. Корпус никогда не должен считаться армией православной Сербии, а особой югославянской революционной армией, единственная задача которой заключается в том, чтобы быть реальной военно-политической базой на будущих мирных переговорах.

5. Нельзя употреблять корпус вне югославянской, невоссоединенной национальной территории и всякое иное действие должно рассматриваться как враждебное.

Для выяснения политических представлений добровольческих офицеров-диссидентов хорватской и словенской национальности, покинувших добровольческие части, полезно изучить некоторые положения, содержащиеся в их декларации, составленной в Одессе в мае 1917 г. Например: «Нашим национально-политическим идеалом был и остается югославянский идеал, т. е. объединение всех сербов, хорватов и словенцев в полностью свободном и независимом государстве — Югославии, основанном на принципах демократии и полного равноправия всех трех национальностей. Любую другую платформу объединения мы считаем невозможной и вредной для каждой из этих трех национальностей.

Поэтому мы отвергаем „Великую Сербию“, так же как „Великую Хорватию“ и „Великую Словению“, как зловредные утопии. Последовательно проведенный принцип равноправия может иметь результатом только федерацию сербских, хорватских и словенских земель по образцу Швейцарии или Северо-Американских Соединенных Штатов. Вследствие этого нашим идеалом является федеративная Югославия».

В противоположность 149 офицерам-диссидентам группа добровольческих офицеров, оставшихся в корпусе, направила русскому Временному правительству меморандум, в котором содержалась решительная критика диссидентов. В меморандуме говорится, что диссиденты неправильно информировали «русское Временное правительство» и «Совет рабочих и солдатских депутатов», а также общественное мнение, и это заставляет авторов меморандума сорвать маску с их деятельности и стремлений, чтобы показать их (диссидентов. — *Н. П.*) в другом свете. Главным отправным пунктом авторов меморандума является то, что Австро-Венгрия не выбирает средств в борьбе за свое существование и что на основе ложных сведений русский пролетариат впал в ошибку, будто необходимо сохранить Австро-Венгрию. Вслед за утверждением, что национальности «австриец» не существует и что война ведется за свободу народов, в меморандуме указывается, что южные славяне тяготеют к Сербии, чехи и поляки хотят сбросить габсбургское иго, украинцы тяготеют к России, румыны — к Румынии, а итальянцы в южном Тироле — к Италии. О диссидентах говорится, что это в большинстве молодые люди, политически еще не сознательные, что они подпали под влияние Тумы² и Геруца³, чьей целью было «любой

² Х. Тума — словенский сепаратист, живший в России.

³ К. Геруц — хорватский писатель и общественный деятель, живший в России.

щенной разрушить корпус, ибо корпус представляет собой сильный протест против австро-венгерского полицейско-бюрократического режима». В заключение меморандума заявляется, что «офицеры, вышедшие из нашего корпуса, частью состоят в связи с Тумой и Геруцем, а частью обмануты и что одни сознательно, а другие неосознанно служат Австрии. Мы самым энергичным образом осуждаем их шаг, ибо он противоречит национальным стремлениям южных славян в Австрии, т. е. сербов, хорватов и словенцев, к освобождению и объединению со свободными братьями в Королевстве Сербия».

Для понимания недовольства среди добровольцев, достигшего кульминации в виде диссидентского движения, отнюдь не маловажен фактор личных отношений между сербскими офицерами и солдатами-добровольцами, в служебном плане — отношения между начальствующими и подчиненными в корпусе. Архивная документация, а также другие исторические источники содержат данные о завидном уважении, авторитете, которыми пользовались отдельные офицеры, о взаимном доверии между ними и добровольцами. С другой стороны, исторические факты свидетельствуют и о противоположных примерах.

Сербские офицеры, прибывшие в Одессу с полковником С. Хаджичем и образовавшие командный состав в 1-й сербской добровольческой дивизии, в основном были отборными офицерами, образованными и опытными. В ходе боевых действий в Добрудже эти их качества проявились в полной мере, что не осталось незамеченным со стороны добровольцев. Действительно, прежний авторитет, добрая слава, заслуженная заботой о солдатах, тактом, пониманием психологии добровольцев и их политических целей, были увеличены искусным командованием на поле боя. Все это благоприятно отразилось на сплоченности отдельных частей и подразделений 1-й дивизии, чего не было во 2-й дивизии. Правда, и сами солдаты 1-й дивизии были подлинными добровольцами-энтузиастами, чего нельзя сказать о большинстве добровольцев во 2-й дивизии. Недостатком 2-й дивизии, по мнению командовавшего корпусом генерала М. Живковича, было то, что ее командные кадры отставали от офицеров 1-й дивизии. Во всяком случае жестокое и оскорбительное отношение отдельных сербских офицеров по отношению к добровольцам являлось частой причиной разногласий и дезертирства солдат.

Анализом причин диссидентского движения солдат-добровольцев активно занимались командиры добровольческих частей и югославянские политические деятели. Их наблюдения и результаты анализа очень впечатляющи и разнообразны. Так, в качестве причины выдвигается утверждение, что дезертиры в сущности и не были добровольцами, и затем дословно говорится следующее:

«1. Появлялись отдельные русские офицеры или провокаторы, одетые в форму русских офицеров, и убеждали их, что теперь в России свобода, что они должны устроить погром своим офицерам, уйти от них и выйти из корпуса. Что им дадут землю, сколько они захотят, чтобы на ней работать и жить от нее. А кроме того каждый будет получать еще и по 4 рубля в день.

2. Что мы их захватим на корабли и отправим на Корфу, а сейчас туда нельзя плыть, так что и половина не доберется до места, потому что будет уничтожена подводными лодками.

3. Что мы спрашиваем их, хотят ли они остаться или нет, только для того, чтобы те, кто заявят, что остаются, тем самым дали бы подписку о вступлении в сербское подданство и больше не могли бы вернуться к себе домой.

4. Русская революция идет на то, что больше не нужно сражаться. От этого отказалась и русская армия, и они, сербы, также не должны воевать.

5. Офицеры, вышедшие из корпуса, агитировали солдат в том же смысле и писали отдельным солдатам открытки, как они чувствуют себя на свободе, как им очень хорошо и как нужно, чтобы и те, кому они пишут, покинули корпус и присоединились к ним».

Корпусной врач д-р В. Стапович был ошеломлен уходом всего персонала 1-го лазарета и сам занялся выяснением причин этого явления. Он

пришел к твердому убеждению, «что подлинная причина ухода из этой дивизии состоит в том, что добровольцы потеряли веру в успех и победу наших сербских национальных и государственных идеалов». Один из сапигтаров сказал ему, «что мы, сербы, с падением царя Николая потеряли единственного и главного друга сербского объединения в России. Сейчас нам больше не на что надеяться, так как эта новая власть в России заключает мир с Австрией и остальными врагами без передачи Сербии сербских земель».

Наряду с командованием Сербского добровольческого корпуса и югославянскими политическими деятелями, членами Югославянского комитета в России (особенно А. Мандичем и М. Ямбришаком) разрешением кризиса в корпусе занимались также в соответствии со своими возможностями сербское правительство, верховное командование и сербская дипломатия. Им удалось убедить русское Временное правительство и Ставку в необходимости сохранения корпуса. На самом деле это было и нетрудно, поскольку Временное правительство и Ставка рассчитывали, что могли бы использовать корпус в планировавшемся летнем наступлении русских армий. Выход из кризиса был найден таким образом: добровольцам была предложена свобода остаться или покинуть добровольческие части. Это осуществлено путем создания комиссий, задачей которых было перед строем каждой части на основе свободного выражения желаний провести отделение тех, кто остается, от тех, кто покидает данную часть. В середине июня 1917 г. комиссии закончили работу. Согласно их отчетам, около 8000 солдат покинуло корпус. В большинстве это были жители Баната, Бачки и Срема, а остальные — из Лики, Боснии и Герцеговины. Таким образом, в корпусе остались действительные добровольцы. Это, разумеется, способствовало его консолидации и усилению.

Уйдя из корпуса, диссиденты не сошли окончательно с исторической арены; офицеры-диссиденты в большинстве были приняты в русскую армию, а солдаты-диссиденты по одобрению Керенского и с помощью нескольких диссиденто-офицеров сформировали Югославянский ударный батальон. Большое число диссиденто-солдат, не вступивших в упомянутый батальон, организовалось в так называемые рабочие дружины, которые осуществляли различные работы и на фронте, и в тылу. Из этой массы организованных и неорганизованных диссиденто-солдат, разъехавшихся по России, рекрутировалась и наибольшая часть югославян — участников Октябрьской революции и гражданской войны в России, что представляет собой особую историческую тему.

Добровольческий корпус сербов, хорватов и словенцев, хотя численно и уменьшился почти наполовину, был сохранен как воинская единица, но его сила и моральная готовность к возможным боевым операциям являлись минимальными. Однако для русского Временного правительства и Ставки это не было препятствием к тому, чтобы при планировании летнего наступления (1917) видеть в нем и место Добровольческого корпуса. Точке зрения русского правительства и русских военных властей было противоположно мнению сербского правительства, верховного командования и, разумеется, командования корпуса во главе с генералом М. Живковичем. Правда, генерал Живкович в начале июня 1917 г. предлагал сербскому военному министерству, чтобы Добровольческий корпус был пополнен и использован в операциях на русском фронте по согласованию с русской Ставкой и в духе сербских национальных устремлений. Однако генерал быстро изменил мнение; единственной причиной этого было состояние русских войск. Полное падение дисциплины в русских войсках, плохое снабжение и нарушение работы транспорта недвусмысленно говорили о явном падении боеспособности русской армии. Обо всем этом были информированы сербские военные и гражданские власти, и сербское правительство приняло решение перевести 10—12 тыс. добровольцев в Салоники, а оставшимися укомплектовать Запасный батальон. Но поскольку это было время интенсивной подготовки к летнему наступлению, на которое Керенский возлагал большие надежды, то 26 июня 1917 г. командование Добровольческого корпуса получило от русского верховного командо-

вания распоряжение немедленно пополнить 1-ю дивизию до положенного состава и направить ее на Румынский фронт.

Таким образом генерал Живкович имел два распоряжения: сербское — ехать в Салоники, русское — отправиться на Румынский фронт. Поскольку распоряжения были взаимоисключающими, последовала мучительная переписка и переговоры между штабом корпуса, с одной стороны, и высшими русскими военными властями — с другой. Только в течение нескольких дней генерал Брусилов, командующий Юго-Западным фронтом, дважды отдавал распоряжение Добровольческому корпусу выступить на Румынский фронт. Сербское же правительство само находилось перед мучительным выбором; в одном донесении (дипломатическом) отправка добровольцев на Румынский фронт характеризовалась как авантюра, причем обращено внимание на то, что и добровольцы не хотят сражаться, а другой источник оптимистически предупреждал, что «положение в Австро-Венгрии крайне тяжелое, и она будет быстро побеждена в случае успешных операций на Юго-Западном и Румынском фронтах». Это последнее, видимо, перевесило, ибо сербское правительство на своем заседании 12 июля 1917 г. приняло решение, чтобы 1-я дивизия вступила в операции на Румынском фронте. Согласно этому решению, генерал Живкович 21 июля издал свой приказ № 221, в котором возвеличивал начальные успехи русского наступления, чтобы затем сказать, что и добровольцы должны принять участие в боях против общего врага и что он получил распоряжение сербского главнокомандующего о вступлении 1-й дивизии в борьбу на Румынском фронте в целях осуществления национальных идеалов. Назавтра, 22 июля Ставка приказала генералу Живковичу направить остаток солдат 2-й дивизии и Запасного батальона на полевые работы и приступить к ликвидации учреждений корпуса, а также к организации добровольческих отрядов и запасного (резервного) полка. Этот приказ генерал истолковал как желание Ставки помешать отъезду добровольцев из России.

Поскольку речь зашла о вопросе привлечения добровольцев к боевым операциям, полезно было знать и об их мнении относительно этого. Так, например, из 115 офицеров и 4020 добровольцев 1-й бригады не согласилось идти на фронт 102 офицера и 3895 добровольцев-солдат. В качестве причин они называли горький опыт совместных с румынами и русскими боев в Добрудже (1916), когда еще сохранялась дисциплина, недоверие к нынешним качествам русской армии и в заключение — существование договора между Антантой и Румынией, согласно которому Банат должен принести в жертву последней.

Описанное выше развитие событий никак не означало, что проблема участия 1-й добровольческой дивизии в операциях на Румынском фронте была решена. Дальнейший ход этой проблемы характеризовался противоречивыми распоряжениями. 2 августа Ставка издала распоряжение о том, что 1-я дивизия не посылается на фронт, а весь Добровольческий корпус готовится к отправке в Салоники. Причина такого оборота дела лежала, вероятно, в том, что русское наступление остановилось. Однако в это дело вмешался командующий Румынским фронтом генерал Щербачев, и Ставка издала новое распоряжение, подчеркивая, что появление добровольцев на фронте является необходимым. Тщетным было сопротивление с сербской стороны, хотя оно имело убедительную аргументацию. Сербское военное министерство телеграфировало генералу Живковичу, что оно было вынуждено уступить многократно повторявшимся требованиям со стороны Щербачева, а, с другой стороны, оно объясняло, что в случае, если бы это требование было отвергнуто, у русских сложилось бы представление, что мы покидаем их в самый тяжелый момент.

Делать больше было нечего, и отправка 1-й добровольческой дивизии на румынский фронт началась 8 августа 1917 г. До 25 августа 1-я дивизия была сконцентрирована в районе Этулея—Хаджи-Абдул—Чекмеджой, где она образовала резерв русской 6-й армии в составе Румынского фронта. В ней насчитывалось 583 офицера и 12 581 солдат.

Однако через некоторое время опять произошел неожиданный поворот. Ставка приняла решение, чтобы 1-я дивизия сдала материальную часть

и 28 октября была в Архангельске, готовая к погрузке на суда. Против этого решения вновь последовали возражения, исходившие от генерала Щербачева, главы французской военной миссии в Румынии Бертелло и сербского посланника в Румынии П. Маринковича. Все трое были за то, чтобы 1-я добровольческая дивизия осталась и на Румынском фронте, и в России, поскольку они были сторонниками идеи образования крупной югославянской армии в России, для которой бы 1-я дивизия послужила ядром. Румынский король и румынское правительство также были за то, чтобы 1-я дивизия осталась на фронте, и искали поддержку в этом вопросе у английского короля и президента Франции. Но все это было тщетным, ибо Ставка на сей раз упорствовала, требуя переброски Добровольческого корпуса на Салоникский фронт. Причина такой позиции заключалась в том, что Ставка планировала на тех же судах, которые перевезут добровольцев, вернуть в Россию свои войска с Салоникского фронта и из Франции. Наконец, после того, как были устранены все препятствия, последовала переброска 1-й бригады через Архангельск и 2-й бригады через Сибирь. В Архангельске добровольцы погрузились на суда 13 ноября 1917 г., а в Дайрене — 23 февраля 1918 г.

С отъездом этих двух бригад не заканчивается история югославянского добровольческого движения в России. Ибо в Одессе остался Запасный батальон Добровольческого корпуса сербов, хорватов и словенцев (около 1200 солдат), а сербские дипломатические и военные представители в России намеревались продолжить набор добровольцев и даже формирование нового Добровольческого корпуса. Однако все эти идеи, а также практическая деятельность остались безрезультатными. Было много причин, сделавших невозможным, а затем и излишним набор югославянских добровольцев. Первая заключалась в том, что Советская Россия в марте 1918 г. вышла из войны, заключив мир в Брест-Литовске. Благодаря этому миру большое число военнопленных, бывших австро-венгерских военнообязанных, было возвращено домой. Между ними находилось и большое число югославян, потенциальных добровольцев. Во-вторых, с мая 1918 г. в России началась гражданская война, что сделало невозможным свободное передвижение и агитацию в целях привлечения добровольцев. С другой стороны, уже тогда, в середине 1918 г. часть югославян в России находилась в красноармейских частях, а гораздо большее число разъехалось по русским городам и селам, где они занимались самыми разными делами. Лагерь для военнопленных, в которых находились большие группы югославян-потенциальных добровольцев, больше не было, так что агитация за вступление в добровольцы была невозможна. Поэтому дело и не дошло ни до образования новых югославянских добровольческих формирований в России, ни до увеличения численности Запасного батальона.

Самому Запасному батальону с большим трудом удалось в начале 1918 г. осуществить переброску из Одессы в Архангельск и Мурманск с целью переезда на союзнических кораблях на Салоникский фронт. Однако решением Высшего военного совета Антанты от 3 июня 1918 г. Запасный батальон был включен в союзнические интервенционистские силы на севере России. Этим решением сербское правительство было поставлено перед совершившимся фактом. Батальон помимо воли своих солдат принял известное участие в боях против Красной Армии и остался в составе союзнических сил на севере России до ноября 1919 г.

ЛИТЕРАТУРА

1. Југословенски добровольци у Русији 1914—1918. Београд, 1977.
2. Поповић Н. Односи Србије и Русије у првом светском рату. Београд, 1977.



МОСКОВСКО-ПОЛЬСКИЙ ДОГОВОР 1686 Г. О СОЮЗЕ И «ВЕЧНОМ МИРЕ»

Заключенный 6 мая 1686 г. в Москве договор о «вечном мире» и союзе между Польшей и Россией [1, № 1186, с. 770—780] следует считать весьма существенной вехой в истории взаимоотношений двух стран периода позднего феодализма, в развитии всей системы международных отношений Восточной и Центральной Европы XVII столетия. Не случайно этому акту придавали большое значение уже современники [2, с. 97; 3, S. 102; 4, т. VI, с. 1170; т. VII, с. 29], не случайно эта тема привлекала внимание как польской, так и отечественной историографии XIX—XX вв.

Интерес к этому событию обусловлен, видимо, тем, что оно оказалось в какой-то мере переломным моментом в политическом развитии восточной части европейского континента XVII в. Однако вопрос о том, чем именно определялся переломный характер этого этапа политической жизни указанного региона, раскрывался по-разному как современниками, так и позднейшими исследователями.

Одни видели в этом акте только дипломатическое поражение Речи Посполитой, вынужденный отказ Польши от давно «освоенных» ею западных и южных русских земель — Смоленщины, Северицины, а также Левобережного Поднепровья и Киевщины [5, т. II, с. 108—109; 6, с. 237; 7, S. 64, 128; 8, с. 1—3]. Другие усматривали в данном соглашении дипломатическую неудачу России и Украины-Руси, знаменовавшую незавершенность их борьбы за выполнение решений Переяславской рады 1654 г., отречение, пусть частичное, от их исторических прав на древнерусское наследство [9, с. 373—374; 10, с. 154—155].

Третьи утверждали, что договор 1686 г., а также Андрусовское перемирие 1667 г. были не вехами процесса интеграции древнерусских земель — воссоединения Украины с Россией, а сознательным разделом сформировавшейся чуть ли не в середине первого тысячелетия «Украины», разделом, осуществленным будто бы одинаково чуждыми, враждебными ей Польшей и Россией [11, с. 1—3, 260—263, 266; 12, с. 127—131; 13, с. 79—139].

Все приведенные трактовки договора 1686 г. касались прежде всего территориальной стороны проблемы. Значительно меньше внимания в историографии обращалось на изменившуюся после весны 1686 г. общую политическую конъюнктуру в Восточной и Центральной Европе. Принципиально новая сущность отношений между Польшей, Россией, Империей Габсбургов и Венецией представляется нам особенно важной и, следовательно, достойной более тщательного рассмотрения, чем это делалось раньше.

В чем же состояла повизна этих отношений? Разумеется, политическая ситуация в регионе радикально изменилась весной 1686 г. не потому, что в боевой строй противников Крыма и Порты вступила именно Россия (хотя она уже в этот период обладала значительными оборонительно-наступательными возможностями в борьбе с крымско-турецкой экспансией),

а потому, что тогда завершилось формирование широкого антиосманского фронта, простиравшегося от Адриатики и Среднего Дуная через все Северное Причерноморье к устью Дона и к Северному Кавказу. Создание такого фронта государств (причем на относительно прочной политической базе равноправного партнерства, без попыток подчинения одного государства другому, как это было в Восточной и Центральной Европе в начале или середине XVII в.) вынудило Османскую империю и ее вассала Крымского хана не только отказаться от прежней тактики вооруженного выступления против одного какого-то государства при нейтрализации других, но и следовать новой тактике одновременной борьбы против нескольких противников с распылением сил по многим участкам большого фронта.

Это ограничивало потенции Стамбула и Бахчисарая и в наступлении, и в обороне. В создавшейся обстановке татарские войска уже не могли в большом количестве появляться в междуречье Дуная и Тиссы, поскольку они должны были заботиться о защите самого Крыма и Северного Причерноморья от возможной военной активности со стороны России и Польши [14, S. 204, 224; 15, с. 158—172], а турецкие армии не могли оказывать широкомасштабную поддержку Крыму, поскольку вынуждены были думать прежде всего об обороне Среднего и Южного Подунавья и вместе с тем всего подчиненного Порте Балканского полуострова от назревавших наступательных операций со стороны Австрии и Венеции [14, S. 208—210, 215—216; 16, S. 120].

Следует признать, что важным толчком к возникновению такой ситуации в регионе послужила Венская битва 1683 г., которая продемонстрировала не только широкие завоевательные планы султана Мехмеда IV и его 30-летнего великого везира Кара Мустафы — планы создания подвластного Порте венгерского «королевства» на развалинах империи [17, s. 58, 85—86, 328—329; 18, S. 186—190; 19, s. 31, 36, 39, 48; 20, t. II, s. 486—518], но и действенность боевого союза двух северных соседей Османской империи — Австрии и Польши [20, t. II, s. 486—518]¹. Однако послевоенский период показал, что союза двух этих государств, а также наличия Белгородской и Изюмской оборонительных линий Московского государства, расположенных поблизости от владений Крымского ханства, оказалось явно недостаточно: сразу же после Вены дали себя знать противоречия между Австрией и Польшей на почве раздела сфер влияния на нижнем Дунае [14, S. 203—204; 6, s. 232; 5, t. II, s. 105—108]; вместе с тем продолжали оставаться разногласия между Речью Посполитой и Россией в вопросе признания или непризнания границ Андрусовского перемирия [22, с. 531—541].

Когда крымские татары и ногаи предприняли атаки на Белгородскую черту, турки стали интенсивно строить крепости вдоль правого берега Днепра, а Крымская дипломатия, идя навстречу пожеланиям Яна Собеского [23, s. 14], имитировала готовность ханства стать его союзником в борьбе с самой Османской империей [24, s. 57]. Все это, сдерживая сближение Речи Посполитой с Россией, тормозило сотрудничество Варшавы с Веней.

Политическое положение стран Центральной и Восточной Европы осложнялось тем, что, хотя Франция с 1679 по 1687 гг. не оказывала прямого военного нажима на Германскую империю с запада, борьба между Версалем и Веней продолжалась в форме попыток Людовика XIV ослабить Австрию на юго-востоке европейского континента с помощью Османской империи, Крыма, Трансильвании, подконтрольной Габсбургам части Венгрии, профранцузской группировки польско-литовской знати [17, s. 85, 86, 97, 269; 18, S. 185—190; 19, s. 44—46; 26, s. 102; 23, s. 16]². Вена ста-

¹ В войске Яна Собеского были, как известно, и запорожские полки [21, с. 317].

² Некоторые из этих тенденций международной жизни Европы становились известными московской дипломатии. Так, во время пребывания русского посла Провчищева в Варшаве в 1680—1681 гг. австрийский резидент Жировский говорил последнему: «Султан турецкий... впредь многими полками на цесаря римского готовится». При этом сообщалось не только о намерении Порты начать большую войну против Империи, но также о конкретных ее целях и реальных формах: «А хочет де султан, чтоб

ралась создать противовес этим союзникам Версаля на востоке и юге Европы путем политического сближения как с Речью Посполитой, так с Россией и Венецией [14, S. 202, 225]. Эти дипломатические усилия не оставались безрезультатными. Уже в марте 1684 г. было оформлено создание «Священной лиги», в состав которой кроме Австрии и Польши вошла Венеция, а в дальнейшем предусматривалось включение и России, что должно было обеспечить более эффективное противодействие крымско-турецкому натиску [14, S. 202, 208—210, 224—225; 25, s. 1—9].

Хотя все участники коалиции были феодальными государствами, стремившимися в силу своей классовой сущности к расширению сферы феодальной эксплуатации, к приобретению новых территорий, тем не менее при этом сохранялись обстоятельства, которые ставили союзников в разное положение: здесь были различные военно-стратегические возможности, обусловленные географическим фактором (войскам Польши и России для встречи с противником нужно было пройти многодневный изнурительный путь по безводным степям северного Причерноморья, а у Австрии противник находился рядом, располагаясь на плодородных берегах среднего Дуная и Тисы), различные по своему историко-культурному характеру политические задачи. Так, если поддержанная Римом Австрия, наступая на турецкие армии, оказывалась в роли завоевателя далеких ей по историко-культурным традициям Венгрии, Трансильвании, Хорватии, Сербии [28, с. 70—94; 16, S. 371—483], если Польша, вступая в борьбу с Портой и Крымом, рассчитывала не только на возврат Правобережной Украины, но и на приобретение придунайских княжеств [5, т. II, s. 105—106, 110, 151—152], если Венеция не скрывала своих намерений овладеть Мореей, Албанией и Далмацией [14, S. 201, 202, 208—210], то Москва тогда оказалась в иной ситуации: она пыталась отстаивать программу объединения под своим главенством этнически родственных, близких по языку и культуре восточнославянских, древнерусских земель, прежде всего воссоединения с Левобережной Украиной, Северщиной, Киевом [22, с. 538—541; 29, с. 189—190].

Но фиксируя особое значение проблемы консолидации восточного славянства в международной жизни Восточной Европы XVII в., во внешней политике России того времени, мы должны коснуться и вопроса о существовании двух «Украин». Одна из них стабильно располагалась на среднем Поднепровье и являлась первоначально окраиной-порубьем Польско-Литовского государства [8, s. 1—3; 5, t. I, s. 334, 350—351].

Другая «Украина» была южной окраиной Московского государства и в отличие от первой постоянно перемещалась с севера на юг в сторону «дикого поля» (в XV — первой половине XVI в. она находилась на берегах реки Оки, а также на линии городов Одоева, Тулы, Деялова, Рязани [30, с. 1—47], в конце XVI — первой половине XVII вв. она передвинулась к «Белгородской черте» [31, с. 65—159], а в 70-х годах — к «Изюмской черте» [31, с. 287—289; 32, с. 43—44; 33, с. 36—135, 197—377].

Хотя в силу своей «мобильности» московская «Украина» не дала повода для закрепления этого наименования за какой-либо определенной территорией и оснований для превращения данного «геополитического термина в этноним (как это случилось в конце концов с Украиной — Русью среднего Поднепровья, входившей в состав Речи Посполитой), тем не менее обе эти «Украины», не разделенные значительными этно-культурными барьерами, уже в первой половине XVII в. стали сближаться друг с другом не только географически, но и политически³. Именно эти территории ока-

цесарь, убоявся той войны, отдал французскому королю цесарский свой венец. А буде не отдаст, и он де государство его (цесаря. — *И. Г.*) хочет разорить». При таком обороте дела парьерами Порты могли стать не только зависимые от Габсбургов венгры, но также, возможно, и сама Польша. Весной 1683 г. посол Чаадаев сообщал из Варшавы в Москву о том, что турецкий султан «домогался, чтобы королевское величество поволит турецкие войска перепустить через свои земли на венгры, которые под цесарским величеством» [27, ф. 79, кн. 204, 1681, л. 732—739, кн. 208, 1683, л. 116; 3, S. 86—92, 168].

³ Так, защищенная прочными оборонительными линиями Московская «Украина» стала, как отмечал Д. И. Багадей, весьма удобной территорией для мирной колони-

зались предметом самого пристального внимания русского правительства в последней трети XV II в., когда оно начало вести переговоры о вступлении в состав антиосманской, антикрымской коалиции.

Нельзя при этом забывать, что в ходе военно-политического сотрудничества участников коалиции не были полностью ликвидированы споры и разногласия между ними. Сохранялись польско-австрийские противоречия в придунайских княжествах, Трансильвании [14, с. 203—204], продолжалась скрытая полемика между Речью Посполитой и Россией по поводу возникших тогда новых границ между ними [5, т. II, с. 108, 111; 6, с. 238]. Более того: Порты и Крым усиленно старались раздуть эти противоречия, предлагая время от времени то одному, то другому северному соседу сепаратные мирные или даже союзные соглашения [6, с. 238, 239; 5, т. II, с. 119; 15, с. 163, 167; 9, с. 375—380].

Однако в создавшихся условиях, когда политические руководители Австрии и Венеции, Польши и России хорошо осознали выгоду скоординированного контрнаступления на распыленные силы Порты и Крыма, упомянутые противоречия оказывались на втором плане.

Неудивительно поэтому, что на протяжении последних 15 лет XVII в. страны — участники антиосманской, антикрымской коалиции добились действительно больших успехов. В течение указанного времени Русское государство направляло свои войска в сторону противника несколько раз — дважды под командованием В. Голицина в 1687 и 1689 гг. [15, с. 158—172; 22, с. 536—541], дважды под руководством самого Петра I, овладевшего в 1696 г. важнейшей турецкой крепостью в устье Дона — Азовом [40, с. 435—459].

Хотя не все перечисленные кампании завершались победами (здесь негативную роль играл географический фактор), они тем не менее в указанное время сковывали значительные татарские силы в самом Крымском ханстве, в Буджаке, заставляли отказываться от обычной практики широкомасштабного участия в операциях турецких войск на среднем Дунае [14, с. 190, 195—196, 204—205]. Данное обстоятельство благоприятствовало Австрии, которая имела теперь ослабленного противника, потерявшего свою наступательную силу на Дунае и лишившего возможности оказывать поддержку в должном объеме Крымскому хану [15, с. 163, 165, 167; 14, с. 208—210].

Это не дедуктивные соображения современного исследователя, а реальная историческая действительность 80—90-х годов XVII в., отображенная в документах того времени. Из турецких источников мы узнаем, что еще в начале 80-х годов султан Мехмед IV располагал по сложившейся традиции значительными татарскими контингентами, бросал их на те участки широкого фронта военных действий, которые представлялись ему наиболее важными и ответственными. Таким участком летом 1683 г. было среднее Подунавье, район Белграда, где формировалась ударная армия Кара-Мустафы для покорения Вены, а потом район Буды (Оффена), куда прибыло многочисленное войско крымского хана Мюрад Гирей [17, с. 95—97, 190—192, 277—278]. 40 тысяч татар должны были принять участие в войне-реванше, которую Порты намечала провести летом или осенью 1686 г. против Австрии в соответствии с планами, разработанными в Стамбуле еще в 1685 г. [15, с. 171; 16, с. 391—399].

Однако после заключения Московского договора весной 1686 г. ситуация в данном регионе радикально изменилась: планы войны — реванша против Австрии были оставлены, 40 тыс. татарского войска, имевшего пред-

заци переселенцев-украинцев из Речи Посполитой, для формирования здесь «слободских» полков [33, с. 135—196, 378—571]. Проложенный таким образом Москвой путь государственного освоения новых территорий «дикого поля» был дополнен колонизацией казацко-крестьянских переселенцев из среднего Поднепровья. Позднее, в последней четверти XVIII в., такими же двумя путями происходило формирование Новороссии. Обеспечив в победоносной войне с Крымом и Портой создание новой расстановки сил в регионе, русское государство подготовило тем самым благоприятные условия для мирной миграции на Северное Причерноморье населения как из Центральной России, так и со среднего Поднепровья [36, с. 73—87; 37, с. 3, 335; 38, с. 186—264; 39, с. 14—24, 142—191].

писание двинуться на Средний Дунай, задержаны в самом Крыму и Буджаке, а турецкие армии должны были не только оборонять венгерское Подунавье, но и защищать свои крепости, расположенные на берегах Северного Причерноморья (сюда были переброшены с Балкан 15 тыс. янычар, из Турции послана часть турецкого флота) [15, с. 171].

Естественно, в этих условиях Польша и Австрия поспешили воспользоваться попой выгодной для них политической обстановкой, решившись на проведение превентивных боевых операций против ослабленных сил противника. Уже летом 1686 г. польский король Я. Собеский организовал поход в Поднестровье, в дальнейшем польские войска неоднократно проводили военные кампании в регионе Днестра и Южного Дуная (в 1690, 1691, 1693, 1694 гг.), не всегда удачные, но все же сковывавшие определенные силы крымско-турецких войск [20, t. III, s. 7—33; 5, t. II, s. 109, 120—121, 151].

Более успешно воспользовались новой ситуацией Габсбурги, тесно сотрудничавшие с Римской курией. Армии императора Леопольда сравнительно легко удалось овладеть уже осенью 1686 г. Будой — крепостью, которую австрийцы не могли взять еще в 1684 г. Летом 1687 г. они нанесли поражение туркам у Мохача и овладели несколькими важными стратегическими пунктами Среднего Подунавья, тогда же в 1687 г. они вынудили трансильванского князя Апафи перейти на их сторону, а также добились права Габсбургов на венгерский и хорватский престолы [14, S. 237—242; 28, с. 78—87]. В 1688 г. были взяты Белград и крепость Сандре на Дунае, в 1689 г. одержана еще одна победа над турецкими силами у г. Ниша, а в 1690 г. предпринято решительное наступление на Трансильванию, где турки попытались вести контригру [16, S. 458—472]. В этих условиях Стамбул даже предложил Вене заключить сепаратный мир, хорошо зная о начавшейся войне Габсбургов с Францией на Рейне в 1688 г. Однако Вена отказалась от такого рода предложений. В условиях существования широкой антитурецкой коалиции Габсбурги были согласны вести борьбу на два фронта, хорошо сознавая, что выгодная политическая конъюнктура в Юго-Восточной и Восточной Европе обеспечит им компенсацию возможных потерь на Западе. Этот стратегический расчет в полной мере себя оправдал. Австрия могла себе позволить вести вялую борьбу на Дунае в 1691—1696 гг., могла пойти на заключение мало выгодного ей мира с Францией в 1697 г., связанного с потерей Страсбурга [41, t. IV, p. 65, 159; 7, S. 155; 42, s. 500—502], и в то же время иметь реальный шанс получить львиную долю территориальных приобретений на Балканах, на среднем Подунавье и Тисе.

При благоприятной политической конъюнктуре в Юго-Восточной Европе, сохранении антитурецкой коалиции приобретали все большее значение перемены в международной жизни Западной Европы, обусловленные надвигающейся войной за испанское наследство. Если Франция выдвигала идею прекращения борьбы в Юго-Восточной Европе ради того, чтобы не допустить дальнейшего усиления Габсбургов за счет Османской империи, ее тогдашнего политического союзника и торгового партнера, то Англия и Голландия хотели мира на Дунае не только для гарантии своих коммерческих интересов в Леванте, но и для сохранения боеспособности Австрии на Рейне в случае возникновения войны за будущее испанского престола [7, S. 157; 5, t. II, s. 150—154; 42, s. 466—467, 492].

Поэтому в конце 90-х годов дипломаты указанных стран Западной Европы усиленно хлопотали о заключении мира между Османской империей, с одной стороны, Австрией, Венецией, Польшей и Россией, с другой [6, s. 240—241; 7, S. 157—159; 23, s. 37]. Правда, выдвинутый тогда принцип заключения этого мира — сохранение за государствами-победителями уже занятых ими территорий — меньше всего устраивал Польшу, поскольку она в то время была лишена Правобережья, Волыни, Подолии. Общая расстановка сил в Юго-Восточной и Восточной Европе помогла тогда не только Австрии, Венеции, но и Польше. «Обретение Петром I Азова в 1696 г., — писал известный польский историк В. Конопчинский, — и большая победа Евгения Савойского под Зентой (в 1697 г.) так значительно ослабили

оборону Шорты, что Август II мог считать возвращение Каменца (а следовательно, Вольни, Подолии, Правобережья) делом предрешенным» [5, т. II, с. 151].

Такая оценка ситуации в полной мере соответствовала реальной политической действительности. Хотя во время переговоров 1698 г. в Карловацах львиная доля территориальных приобретений досталась Австрии (Венгрия, Трансильвания, часть Хорватии) [16, S. 514—529; 7, S. 157—159] и Венеции (она получила значительную часть Далмации) [14, S. 267, 272; 28, с. 91], Польша вернула себе Вольнь, Подолию с Каменцем [5, т. II, с. 151—153; 6, с. 241]. Россия, обделенная на Карловицком конгрессе, сумела получить отвоеванный ею Азов лишь в ходе Константинопольских переговоров 1700 г. [40, с. 455—459; 14, S. 269—272].

Мы можем зафиксировать следующий общий вывод: на протяжении последних 15 лет XVII в. государства Центральной и Восточной Европы добились весьма заметных успехов в борьбе с Портой и ее вассалами и не только потому, что Османская империя обнаруживала в то время, как отмечали основоположники марксизма, определенные симптомы стагнации [43, с. 61], а почти все ее северные соседи обнаружили признаки роста производительных сил, укрепления государственной и военной структуры, но еще и потому, что в указанном регионе сложилась благоприятная политическая конъюнктура в результате создания широкой антитурецкой коалиции и того, что Турция и Крым вынуждены были расплыть свои вооруженные силы по всему фронту военных действий.

Возникает вопрос — почему такая обстановка не могла сложиться раньше? Почему Порте и Крыму прежде всегда удавалось преодолевать попытки создания государствами Центральной и Восточной Европы антитурецкой, антикрымской коалиции?

Для ответа следует, на наш взгляд, обратить специальное внимание на некоторые особые тенденции политической жизни региона, возникшие еще в ордынские времена и сохранившиеся здесь в период утверждения сильного влияния Османской империи и ее вассала Крымского ханства. Соотношение сил между ведущими государствами Восточной и Центральной Европы, формирование здесь межгосударственных границ во многом зависели от политики сначала Ордынской державы, а потом и Османской империи, от применения ими особой тактики, рассчитанной на сталкивание и взаимоослабление восточноевропейских государств, на срыв всех попыток создания широкой антиосманской, антикрымской коалиции.

Такой подход к проблемам развития международных отношений Восточной Европы на протяжении XIII—XVII вв. оправдан также тем обстоятельством, что в современном востоковедении утвердилось мнение, согласно которому Стамбул в своей восточноевропейской политике XVI—XVII вв. весьма часто использовал тактические приемы как крымской, так и ордынской дипломатии предшествующих периодов [44, р. 1—3; 45, с. 93]⁴. Это не означает, что в данном случае мы имеем дело с этно-культурной общностью всех перечисленных государственных систем [46, р. 187].

Обращаясь к эпохе установления ордынской власти на Руси, мы получаем возможность убедиться в том, что крымско-турецкая политика сталкивания различных государств Восточной Европы, осуществлявшаяся в XVI—XVII вв. [47, с. 31—35], во многом перекликалась с применявшейся Ордой в XIII—XIV вв. тактикой поощрения борьбы центробежных и центростремительных сил «русской земли» при помощи специально сохраненных для этого «великих княжений» и т. д. Указанные тактические приемы Ордынской дипломатии последовательно «расщепляли» «русскую землю», противодействовали ее консолидации, тормозили восстановление ее целостности и единства (хотя соседняя с ней Польша, не знавшая татаро-монгольского ига, уже к началу XIV в. сумела преодолеть феодальную раздробленность, объединить почти все свои территории) [48, с. 20—22].

⁴ Одним из ярких подтверждений данного исторического явления представляется тот факт, что османско-крымская дипломатия при «передаче» русских земель великим князьям литовским в XVI в. широко использовала формуляры ордынских ярлыков конца XIV в.

Эта тактика играла весьма важную роль в исторических судьбах «русской земли» уже в XIII в., в 40—50-е годы, когда Сарай и Каракорум, продолжая сотрудничать друг с другом на международной арене, восстановили на русских землях два «великих княжения» — Киевское и Владимирское, явно имея в виду противодействие объединительным процессам на Руси. Эта тактика «работала» и в 60—90-е годы, когда Дешт-и-Кипчак разделился на два улуса — Волжский и Придунайский [47, с. 14, 31—35], а на древнерусских территориях сформировались две обособленные друг от друга зоны: Северо-Восточная Русь, оказавшаяся под контролем ханов Волжской Орды, и Юго-Западные русские земли, подчинявшиеся правителю Придунайского улуса Ногаю. Как и подконтрольные им различные объединения русских земель, оба улуса осуществляли самостоятельную политику в Восточной Европе, пытаясь распространить свое влияние на территории соперника.

Последовавшее в 1300 г. физическое уничтожение Ногая в схватке с изменившим ему ханом Тохтой, так же как и ликвидация самого причерноморского улуса [49, с. 48—49], позволили Сарая восстановить свою власть над всей русской землей, наметить путь воссоздания ее целостности, разумеется, под контролем Орды [50, с. 109—111]. Не исключено, что в этих условиях «вызревал» план создания нового центра «русской земли», которым, видимо, сначала должна была стать Тверь [51, с. 105, 110]. В самом начале XIV в. тверской князь Михаил не только стал обладателем Владимирского стола, но и получил титул «великого князя всея Руси», а в некоторых случаях даже именовался «царем» Русской земли [52, с. 147, 158]. Более понятными в связи с этим планом становятся и такие факты, как проезд в 1300 г. из Киева во Владимир митрополита всея Руси Максима [53, с. 94—97] и создание в Твери общерусской летописи (так называемого свода 1305 г.) [54, с. 106—110; 55, с. 237].

Однако в дальнейшем, уже во втором-третьем десятилетии XIV в., этот план был отброшен. Две зоны «русской земли», ставшие теперь двумя «великими княжениями» — Владимирским и Литовско-Русским — были сохранены Волжской Ордой для того, чтобы, поощряя их борьбу за лидерство в русской земле, содействуя то усилению, то ослаблению каждого из этих княжений, обеспечить статус постоянной политической напряженности в Восточной Европе и при этом добиться своей главной цели — упрочения власти Сарая в этом регионе.

Соперничество между «великими княжениями» Орда умело поддерживала на протяжении всего XIV в. — во время борьбы за раздел Галицко-Волынской Руси между Литовской Русью и Польшей в 1351 г. [56, р. 182] и в предкуликовский период с помощью Мамая, а в послекуликовскую эпоху — при содействии Тохтамыша. Орда преследовала эту цель и после того, как была заключена Кривская уния 1385—1386 гг., формально соединившая Великое княжество Литовское с Польским королевством [48, с. 182—194].

Антиордынская политика, осуществлявшаяся на общерусской основе видными политическими деятелями конца XIV в. — первых лет XV в. (сначала Дмитрием Донским, потом Киприаном, Витовтом и Василием I), хотя и была ознаменована большими достижениями, в конечном счете не смогла сломить власти Орды в Восточной Европе [48, с. 223—240, 261—275, 292—310]. Ход этой борьбы с ордынскими силами, ее различные этапы нашли отражение в памятниках Куликовского цикла [57, с. 187—204; 58, с. 87—100, 110—112]. Однако сущность политики Сарая на русских землях была впервые раскрыта в «Повести о нашествии Едигея» [59, с. 237].

Распад Ордынской державы на отдельные улусы во второй четверти XV столетия обусловил некоторое ослабление ее власти над русскими землями, резко сузил возможности Сарая влиять на ход взаимоотношений двух «великих княжений». Однако после завоевания Крыма Османской империей (в 1475—1478 гг.) на смену Сарая пришли Стамбул и Бахчисарай, которые стали вмешиваться в политическую жизнь восточноевропейских государств не менее активно, чем Орда в период своего расцвета.

Возможности выявить различные варианты преодоления Портой многих попыток европейских стран создать антитурецкую, антикрымскую коалицию помогает важный вывод, сделанный уже давно польской и отечественной историографией. Крымские ханы, выполняя предписания своих патронов — турецких султанов, никогда не воевали одновременно против всех или даже против двух своих северных соседей [23, s. 10; 61, s. 276—300]. Действуя по указке Стамбула, они нападали на одного соседа, а с другими поддерживали нейтрально-мирные или чаще союзные отношения [60, s. 129—130, 132—134, 166, 198, 258; 5, t. I, s. 36, 256; 42, s. 28, 29, 41]. Позднее была выявлена еще одна важная особенность турецко-крымской политики, как правило, удар был направлен против того государства, которое представлялось наиболее преуспевающим и сильным; тем самым Крым помогал ослабевшему тогда государству во имя восстановления равновесия между ними [6, s. 182; 62, с. 153—156, 233—235, 242; 63, с. 154; 64, с. 294—314].

Опираясь на эти наблюдения, можно выделить такой показательный период как последняя четверть XV — самое начало XVI в., когда крымско-турецкая дипломатия в связи с наступившим усилением Польско-Литовского государства (вследствие династической унии Ягеллонов с Венгрией и Чехией, установления союза Кракова с Волжской Ордой) решила встать на путь военно-политического сотрудничества с русским государством Ивана III [65, с. 59—103]. Как известно, это был период неоднократных крымских вторжений на русско-украинские земли, входившие тогда в состав Польско-Литовского государства [62, с. 194—196], а также прямых столкновений турецких войск с польскими армиями на Молдавской земле в 1497—1498 гг. [66, с. 40—52].

С начала XVI в. и почти до конца столетия политическая ориентация турецко-крымской дипломатии изменилась. Ослабленная провалом замыслов в отношении Великого Новгорода и Пскова, крушением своего союзника — Волжской Орды в 1502 г., крахом надежд на сохранение польско-венгерской и польско-чешской унии, Польша перестала быть наиболее опасным северным соседом Османской империи и Крыма; в то же время заметно усилились Габсбурги, захватившие в 1526 г. большую часть венгерской территории, а также русское государство, значительно укрепившееся в период правления Ивана III и Василия III. В этих условиях Польско-Литовское государство стало уже стабильным союзником Крыма и Порты. Османская дипломатия на протяжении первой половины XVI в. оказывала нажим на Русское государство, пытаясь активно поддерживать три самостоятельных ордынских улуса — Крымский, Астраханский и Казанский, а также поощрять претензии феодальной Польши на пересмотр ее восточных границ [65, с. 136—168, 163—172]. Военно-политическая активность Порты усиливалась несколько раз в течение первой половины XVI в. — в начале 20-х, 40-х и на рубеже 40—50-х годов, особенно после присоединения к России Казани и Астрахани (1552—1654). Стамбул организовал поход на Дон и на нижнюю Волгу в 1569 г. и тогда же санкционировал заключение Люблинской унии, значительно укрепившей позиции Польши, в качестве противовеса русскому государству в Восточной Европе.

Но поддержав Речь Посполитую против России на рубеже 60—70-х годов XVI в., крымско-турецкая дипломатия продолжала осуществлять политику выравнивания сил своих северных соседей: в 1577—1578 гг. были совершены неожиданные набеги на окраинные земли Речи Посполитой (неожиданные потому, что ставший тогда польским королем Стефан Баторий был до сих пор политической кратурой Стамбула) [5, t. I, s. 151—152; 20, t. II, s. 28—29, 105—108; 62, с. 360—361]. Параллельно они осуществляли набеги и на московские «украины» в 70-е годы [61, s. 298—299], а на рубеже 80—90-х годов организовали большие походы на Москву [32, с. 41], кстати сказать, согласованные со шведским королем [67, с. 42—43].

В то же время Османская империя не игнорировала и Габсбургов, стараясь не только предотвратить все попытки расширить сферу их влияния на Среднем Дунае (1526, 1541, 1556), но и добиться упрочения своих

позиций в этом регионе [65, с. 115, 147, 204, 213]. В 1593 г. Порта начала войну против империи Габсбургов, имея в виду ослабление одной из главных сил контрреформации в Европе, а вместе с тем и одного из бесспособных союзников Польши в Центральной Европе [68, с. 332—334]. Весьма показательным, что Стамбул почти всегда использовал при этом военный потенциал Крыма — татарские войска, как правило, активно участвовали в операциях на Среднем Дунае [32, с. 42, 48; 17, s. 168, 252—278].

На рубеже XVI—XVII вв. крымско-турецкая дипломатия резко изменила свою политику, учитывая усилившееся наступление польско-католических сил на белорусские, украинские, русские земли (уния 1596 г., подготовка самозванцев в начале XVII в., а потом и прямое вторжение польских вооруженных сил). Стамбул, с одной стороны, пошел на примирение с Габсбургами в 1606 г., а с другой — стал вести борьбу против усилившегося за счет Москвы Польско-Литовского государства, не только умело используя противоречия между королем Сигизмундом и канцлером Замойским [5, t. I, s. 180—185, 201, 205—207, 210—222], а потом лидером рокоша Зебжидовским, но и направляя большую крымскую армию на окраины Речи Посполитой [69, s. 3—28; 63, с. 155], а также на русские территории, находившиеся под контролем польских войск или самозванцев. Вместе с тем Порта и Крым поддерживали самые тесные политические контакты с царем Шуйским, потом с лидерами второго ополчения и, наконец, с избранным на царский престол в 1613 г. Михаилом Романовым. Все это в целом содействовало ослаблению натиска сил контрреформации на русские земли, помогало восстановлению политической самостоятельности Русского государства и, наконец, заключению Деулинского перемирия 1618 г.⁵ [70, с. 193—603; 32, с. 45—97; 20, t. II, s. 156; 5, t. I, s. 247—249].

Участвуя в создании этой новой расстановки сил в Восточной Европе, крымско-турецкая дипломатия в дальнейшем отнюдь не отказывалась от политики регулирования политических потенциалов России и Речи Посполитой, политики, необходимой для сохранения власти в регионе. Папуганная чуть было не осуществившимся в начале XVII в. планом подчинения Русского государства силам контрреформации, Порта была удовлетворена тем, что произошло восстановление «Русского православного царства» в качестве противовеса католической Речи Посполитой. Но при этом она была далека от того, чтобы восстанавливать прежние границы России и усиливать Московское государство, заметно укрепившееся еще в XVI в. с выходом на земли Поволжья, Подонья и Северного Кавказа [32, с. 43—44; 78, с. 179—290].

Турецкая политика столкновения и взаимоослабления своих северных соседей ради утверждения, а может быть, и расширения власти Османской империи в Восточной Европе ярко проявилась в годы знаменитой Смоленской войны. Эта война начиналась и велась при активном участии турецко-крымской дипломатии. Происходившая в Крымском ханстве в конце 20-х годов «гражданская война» создавала как в Кракове, так и в Москве впечатление резкого ослабления военного потенциала Крыма, позволяла рассчитывать на нейтралитет Бахчисарая в случае возникнове-

⁵ Этот этап международной жизни Восточной Европы и период весьма сложных отношений Стамбула с Московским государством получил отражение в большом комплексе источников как русских, так и западноевропейских [71; 72; 73, с. 30—32; 74, с. 268—285]. Для нашей темы особый интерес представляет литературная деятельность Арсения Елассонского, греческого иерарха, находившегося около 30 лет на службе русской церкви (главным образом в качестве настоятеля Архангельского собора Московского Кремля — с 1588 по 1616 г.). Его перу бесспорно принадлежат «Мемуары», написанные на его родном языке для правящей элиты греческой церкви [75, с. 72—178; 76, с. 329—358]. Не исключено, что он же был автором или заказчиком так называемого «Пискаревского летописца» [77], очень близкого «Мемуарам» как концепционно, так и фактологически [76, с. 352—353]. Литературное наследие Арсения свидетельствует о том, что будучи представителем Стамбула в Москве, он был активным противником торжества польско-католических сил на русских землях, а вместе с тем и последовательным поборником восстановления в качестве противовеса Речи Посполитой независимого «православного царства» под эгидой Москвы.

ния нового конфликта между Речью Посполитой и Русским государством. Утверждению таких настроений в правящих кругах Москвы и Варшавы содействовало и то обстоятельство, что турецко-крымская дипломатия в те годы обещала поддержку как русскому, так и польскому правительствам в борьбе за Смоленск, однако реальная ее позиция была иной: в ходе решающих боев за этот город летом 1632 и в июле 1633 г. появлялись на Оке в районе Серпухова большие крымские армии, естественно, разорявшие и уничтожавшие все на своем пути⁶. Это вторжение на берега Оки не могло не сказаться на ходе напряженной борьбы русских войск в районе Смоленска⁷: в результате уже осенью 1633 г. армия Шеина нельзя было оказать военной поддержки и она потерпела поражение [5, т. I, с. 292—294; 22, с. 474—475; 32, с. 199—222]. Однако, когда определился в ходе военной кампании явный перевес польского оружия, сама Османская империя стала готовить большой военный поход против Польши [20, т. II, с. 223—224]. В итоге — обе воюющие стороны, в достаточной мере обесиленные, поняли бесперспективность продолжения войны и в 1634 г. подписали Поляновский договор, подтверждавший прежние условия Деулинского перемирия [22, с. 475; 80, с. 177—194]. Так, участвуя в провоцировании русско-польской войны за Смоленск, оказывая влияние на ее ход, Порта и Крым добились своей главной цели — ослабления борющихся сторон и сохранения предвоенного статуса отношений между Москвой и Варшавой.

Осознав роковую роль военно-политической активности Крыма и Порты в ходе Смоленской войны, трезво оценив уязвимость своих южных рубежей, Россия и Польша признали необходимым укрепить их оборонную способность, создать более совершенную систему защиты своих окраинных территорий на юге и юго-востоке. Правда, размах этой строительной деятельности у России и Польши оказался неодинаковым. Не имея возможности сдвинуть границы своей «Украины» в южном направлении, Польско-Литовское государство ограничилось постройкой с помощью французского инженера Боплана крепости Кодак на одном из Днепровских порогов⁸ [81, с. 161—184].

Россия на протяжении конца 30—40-х годов провела значительно более масштабные работы по сооружению глубоко эшелонированных оборонительных систем, добилась значительного перемещения фактических границ Русского государства в южном направлении. Были обновлены старые укрепленные районы, началось создание новых. Была усилена Приокская защитная линия, Козловско-Тамбовский оборонительный комплекс, перекрывавший татарам так называемый Ногайский шлях, построена система городов-крепостей (Усерда, Яблонова, Корочи, Чернавска), которая закрывала татарским войскам движение по Калмиусскому и Изюмскому шляхам, сооружена крепость Чугуев, которая затрудняла проникновение

⁶ Татарскому разорению подверглись следующие приокские узды: Серпуховский, Тарусский, Калужский, Алексинский, Каширский, Коломенский, Рязанский [32, с. 204—222].

⁷ В санкционированной Московским собором начала 1634 г. грамоте по поводу сбора денежных средств на военные нужды, между прочим, говорилось о том, что ход борьбы за Смоленск в 1632—1633 гг. был осложнен синхронными нападениями крымских войск на «украинские города» русского государства. «Крымский царь, — отмечалось в грамоте, — прислал на войну сына своего наравица царевича Мумарака Гирея со многими ратными людьми и украинные города многие повоевали, и пожгли и в полон многих людей поимали и тою татарскою войскою литовский король под Смоленском государеву делу поруху учинил многию; и дворяне и дети боярские украинных городов, видя татарскую войну, что у многих поместья и вотчины повоеваны, и матери и жены и дети в полон поиманы, из-под Смоленска разъехались, а остались под Смоленском с боярином и воеводою немногие люди» [79, т. III, с. 344].

⁸ Сооружение Кодака, а в более ранний период Каменца, Брацлава, Черкес, Капева, Белой церкви и ряда других крепостей, не связанных друг с другом сплошной оборонительной линией, так же как и проведение смелых операций запорожского казачества против Крыма, все же не обеспечивали надежного перекрытия трех главных путей татарских вторжений на территорию Речи Посполитой — шляхов Валахского (через Молдавию на Львов), Кучманьского (через земли между Днестром и Бугом на Подолью) и Черного (от нижнего Днепра на Умань) [5, т. I, с. 184, 326, 350; 63, с. 155; 69, с. 10—14, 20, 27].

противника по Муравскому пляху. Наконец, началось восстановление Белгородской оборонительной черты, которая должна была стать наиболее серьезным препятствием для крымских атак в северном направлении. Хотя строительство Белгородской черты завершилось лишь в 1653 г., тем не менее уже в 40-х годах XVII в. она стала играть важную роль в обороне московской «Украины», переместившейся теперь далеко на юг [32, с. 42—44; 82, с. 43—124; 83, с. 263—275]. Если добавить к этим мероприятиям русского правительства санкционированное Москвой овладение в 1637 г. турецкой крепостью в устье Дона Азовом донскими казаками (они владели им до 1642 г., когда по решению московского правительства оставили эту крепость) [84, с. 211—222], то картина эффективного сдерживания крымско-турецкого натиска на южные границы России станет еще более полной [85, т. II, с. 43—91].

Все эти события, как и происходившие в середине 40-х годов польско-московские переговоры о заключении антитурецкого, антикрымского союза [5, t. I, s. 325—327, 330, 334; 32, с. 364; 86, t. I, s. 453—458], не оставались незамеченными в Стамбуле и Бахчисарае. Они заставили Порту и Крым думать об изменении своей стратегии и тактики в отношении стран Восточной Европы.

Теперь тактика stalkивания и взаимоослабления Польши и России требовала более изощренных приемов. Так возник план более активного вмешательства крымско-турецкой дипломатии в развитие международных отношений региона, во внутриполитическую жизнь Речи Посполитой и Русского государства, а вместе с тем и план расширения своей сферы влияния в Восточной Европе за счет этих стран.

«Помощь» Крыма и Турции, оказанная Б. Хмельницкому в ходе начавшегося освободительного движения украинского народа, имела далеко идущие цели [87, с. 103—106; 5, t. II, s. 11]. Однако эта помощь не дала результатов. Хорошо понимая корыстные замыслы крымской дипломатии в отношении украинских земель, Б. Хмельницкий принял на Переяславской раде историческое решение о воссоединении Украины с Россией. Это повлекло за собой не только вступление Москвы в войну против Речи Посполитой, но и резкий поворот крымско-турецкой политики в отношении России и Украины: из недругов Польши Стамбул и Бахчисарай сразу превратились в ее союзников, а из партнеров Порты и Крыма Б. Хмельницкий и вместе с ним Россия стали их врагами [6, с. 182]. Этот союз Османской империи и Крымского ханства с Речью Посполитой, несмотря на все перипетии политической жизни Восточной Европы второй половины 50-х — начала 60-х годов XVII в., фактически сохранился до заключения Андрусовского перемирия в 1667 г. [88, с. 11—12; 89, с. 382—389; 6, с. 223—225].

Хотя военно-политическое сотрудничество крымско-турецкой дипломатии с Речью Посполитой в 1654—1666 гг. явилось одной из причин того, что Русское государство и Запорожское казачество оказались вынужденными уменьшить масштабы территориальной программы, выдвинутой Переяславской радой (здесь сыграли роль как авантюра Ив. Выговского [29, т. II, с. 84—85; 5, t. II, s. 35—39], так и наступательные операции польских и крымских войск на Левобережье в начале 60-х годов [29, т. II, с. 89]), тем не менее заключенное в 1667 г. Андрусовское перемирие стало важным этапом в процессе воссоединения России с западно-русскими, украинскими землями, в частности, со Смоленщиной, Северщиной, Левобережной Украиной и Киевом. Изменившееся в пользу России общее соотношение сил в восточноевропейском регионе свидетельствовало, что Стамбул и Бахчисарай потеряли способность поддерживать старыми средствами необходимое им равновесие между своими северными соседями, столкнулись с кризисом своей тактики, до сих пор надежно обеспечивавшей осуществление их стратегических задач.

Кризис возник не только в результате менявшегося общего соотношения сил между государствами Восточной и Центральной Европы с одной стороны, Османской империей и ее вассалами с другой, но также вследствие того, что в международной жизни этой части континента наметились

новые тенденции политического сближения России, Польши и Австрии на основе которого могла сформироваться широкая антитурецкая коалиция.

Учитывая существование подобных тенденций, правители Османской империи стали искать новых тактических средств для реализации их старой стратегии — столкновения и взаимоослабления соседей, недопущения консолидации их сил.

На рубеже 60—70-х годов Портой и Крымом был намечен путь еще более энергичного вмешательства во внутривосточную жизнь восточно-европейских государств (например, использование антифеодального движения донского казачества или выступлений запорожцев против правительства Речи Посполитой [14, S. 141—143; 29, с. 93—95, 156—165], а также создание зависимого от Порты княжества — протектората на территории Среднего Поднепровья, при помощи которого можно было бы не только значительно ослабить Польшу и Россию, остановить их продвижение на юг, но и более эффективно сталкивать их друг с другом, более надежно предотвратить возможность их сближения [14, S. 142; 21, с. 277—280, 283; 18, № 4]). Начать реализацию этого плана для Порты и Крыма было легче на территории Правобережной Украины, а не на землях Левобережья, хорошо укрепленных Белгородской оборонительной линией и комплексом крепостей с многочисленными московскими гарнизонами.

Видимо, не случайно османы вместе с татарами Селим Гирей и казаками Дорошенко [21, с. 290; 20, т. II, с. 418—425] уже в 1672 г. начали военные действия на Правобережной Украине, осуществив захват крепости Каменец и прилегающих к ней территорий Подолии и Волыни; при этом они имели в виду в ближайшем будущем перенести военные действия и на Левобережную Украину. Начало операций принесло Порте определенный успех: после захвата Каменца был заключен Бучачский мир в 1672 г. [20, т. II, с. 218—425] и положено начало созданию на Правобережье «русского княжества» — протектората во главе с гетманом П. Дорошенко [21, с. 290; 91, с. 207—208; 29, с. 95—96; 14, S. 142; 85, т. II, с. 146; 75, с. 315—318]. Однако продолжение указанных операций Порты и Крыма наталкивалось на серьезные трудности. Украинский народ не принял этого плана, население Правобережья отвечало турецкому ставленнику Дорошенко массовой миграцией на Левобережную Украину, находившуюся тогда под защитой русского правительства [22, с. 93; 31, с. 277—290]. Но несмотря на поражение, Порта продолжала оказывать военный нажим на Польшу, навязав в 1676 г. еще один тяжелый для нее «мирный» договор, так называемый Журавненский договор [6, с. 183; 20, т. II, с. 475—485], а в дальнейшем предложив еще один вариант создания вассального княжества в среднем Поднепровье на этот раз под эгидой выпущенного из турецкого плена Юрия Хмельницкого [21, с. 303—304; 29, с. 96].

Международная обстановка этому как будто благоприятствовала: на Западе в 1673—1679 гг. разворачивалась борьба между Францией и Габсбургами, Ян Собеский был втянут в эту борьбу, выступая против союзников Версаля на Балтике [6, с. 185—186; 25, с. 10]. Отношения между Россией и Речью Посполитой оставались напряженными из-за невозможности превратить Андрусовское перемирие в «вечный мир» [6, с. 185].

Используя распыленность сил России, Польши и Австрии, Османская империя уже в 1677 г. начала новое наступление на Среднее Поднепровье, на позиции московских вооруженных сил в Чигирине и Киеве. В результате двух походов 1677 и 1678 гг. им удалось получить оставленный русскими войсками Чигирин, но не удалось овладеть Киевом [85, т. II, с. 148, 159], что срывало планы создания княжества-протектората с Ю. Хмельницким во главе на берегах Днепра⁹ [85, т. II, с. 143—168; 22, с. 521—528].

⁹ Используя архивные данные по поводу тогдашних территориально-политических планов Константинополя и Бахчисарая, Бантыш-Каменский писал: «По совету константинопольского патриарха содержавшийся до того в семибашенной крепости Юрий Хмельницкий освобожден и пожалован князем малороссийской Украины» [21, с. 304].

Итак, прямое наступление турок в Восточной Европе в 70-х годах дало Порте некоторые территориальные приобретения (фактически она владела крепостью Каменцем, Подолией, Вольноью, частью Киевщины), однако программы-максимум она все же осуществить не смогла. Россия выдержала еще один турецко-крымский натиск на Правобережье. Вместе с украинским народом Русское государство сорвало план создания в Среднем Поднепровье подконтрольного Порте княжества-протектората. Но борьба с Портой и Крымом на этом не завершилась [85, т. II, с. 168—173].

Россия была готова начать новый тур переговоров с Польшей и Австрией, имея в виду не только заключение «вечного мира» на Андрусовских условиях, но и создание широкой антитурецкой коалиции.

Международная обстановка этому как будто слобобствовала: Порта временно отказалась от планов подчинения себе Киева и левого берега Днепра; Ян Собеский, разочаровавшись в сотрудничестве с Францией на Балтике, решил снова вернуться к активной политике на юге, а Габсбурги, заключив мир с Людовиком XIV в Нимвегене в 1679 г., получили возможность активизировать свои действия на Дунае [41, т. III, р. 444—446; 3, S. 77—79].

Непосредственная дипломатическая подготовка соглашения о вечном мире и союзе с Польшей должна была завершить формирование широкого антитурецкого фронта государств Восточной и Центральной Европы. Видимо, совершенно не случайно Москва в этот период развернула свою дипломатическую активность в Европе. Она направила в 1679 г. в Вену посольство Бутурлина, которому была дана очень важная в военно-стратегическом отношении инструкция. Этот документ не только фиксировал намерение Крыма и Порты захватить все среднее Поднепровье и «тем на все христианство врата отворить» [4, т. V, с. 1056], но и предлагал конкретный план совместной борьбы против этих намерений общего противника: участники намечаемой коалиции должны были «войну вести на того неприятеля в одно время, кийждо государь со своей стороны», чтобы «салтан, имея на себя от христианских государей соединенье, силы свои делил в разные страны» [4, т. V, с. 1041]. Посол Бутурлин должен был подтвердить в Вене и Варшаве, что только таким путем — «общим тех христианских государей военным соединением тому неприятелю будет разоренье» [4, т. V, с. 1041, 1056]. В 1680 г. русские послы в Польше обратились через нунция Мартелли к римскому папе Иннокентию XI (1676—1684) с просьбой запретить Людовику XIV вести наступление на Габсбургов с Запада¹⁰.

Тогда же, в 1681 г., по существу, с теми же политическими установками — предотвратить выступление Людовика XIV против Империи на западе — был направлен в Версаль и русский посол П. И. Потемкин [27, ф. 93, кн. 199, 1680—1682, л. 15—21; франц. дела, № 6, л. 115—120; 3, S. 86—92].

Однако, несмотря на все ухищрения московских дипломатов, этот план русского правительства не был тогда принят ни в Варшаве, ни в Вене. Он, разумеется, был отвергнут и в Париже. При таком раскладе сил на международной арене сторонники полной ревизии Андрусовского перемирия в Речи Посполитой оказались сильнее [2, s. 97] приверженцев плана организации совместного с Россией контрнаступления на Порту и Крым, захвативших по Журавненскому миру значительные южные территории Польско-Литовского государства — Вольнь, Подолию, Правобережную Украину [5, s. 85—86]. Венское правительство снова думало больше о реванше на Рейне, чем об активизации своей политики на Дунае [7, S. 92—97]. Турецкая дипломатия, разумеется, подогревала все эти «мирные» в отношении Порты настроения как в Польше, так и в Вене [14, S. 180—182;

¹⁰ В инструкции московского правительства своим послам Прончищеву и Украинцеву, направлявшимся в Польшу в 1680 г., прямо предписывалось, чтобы «папа французского короля, яко пастырь и учитель, от злого начинания клятвою своею или иным каким запрещением отвратил, чтобы он цесарскому величеству (Леопольду I.— И. Г.) в союз с великим государем (царем Федором Алексеевичем.— И. Г.) и королевским величеством польским (Яном III.— И. Г.) против неприятеля Креста Святого вступать не мешал» [27, ф. 79, 1680, кн. 196, л. 11—15].

6, с. 234—236]. В результате Москва вынуждена была подписать 13 января 1681 г. так называемый Бахчисарайский договор о 20-летнем перемирии с Портой [17, с. 35, 337—338; 85, т. II, с. 164—166].

Но правящие круги Москвы не оставили идею создания антитурецкой коалиции на паритетных началах со всеми ее возможными участниками и после Бахчисарайского договора, тем более, что договор этот в дальнейших переговорах с Портой (1682—1683) был во многом урезан (интересы России в Запорожье и на Правобережье Портой игнорировались) [15, с. 159]. Однако осуществление идеи коалиции продолжало наталкиваться все на те же трудности: на нежелание польской стороны заключать одновременно договор о союзе и «вечном мире», на вынужденно пассивную позицию Вены на Дунае из-за страха выступления Франции на Рейне.

Тем не менее наметившаяся в 1682 г. перспектива нового турецкого наступления на Польшу и Австрию [14, S. 185—188], обозначившийся тогда крах надежд Собеского на французскую поддержку его династических замыслов [25, р. 10] заставили польское правительство вновь вернуться к вопросу о сотрудничестве с Австрией и Россией в деле противодействия крымско-турецкому натиску. Однако и в 1683 г. договор о союзе Ян Собеский заключил лишь с Веной (31 III 1683) [6, с. 233; 14, S. 104—106; 27, ф. 79, кн. 208, 1683, л. 125—132], надеясь, что, одержав совместно с Австрией победу над Портой и Крымом, он вернет себе не только Правобережье, но также Левобережье и Смоленщину. Поэтому сделанное в 1683 г. русскими послами Чаадаевым и Голосовым в Варшаве еще одно предложение о мире и союзе снова было отвергнуто [27, ф. 79, кн. 208, л. 79, об., 100—103].

В результате Ян Собеский оказался единственным союзником Габсбургов, когда под Веной в начале сентября 1683 г. появилась многочисленная турецко-татарская армия Кара Мустафы и Мюрад Гирея [18, S. 187—190; 19, с. 329; 17, с. 190—192]. Битва под Веной была выиграна австро-польскими войсками главным образом благодаря активному участию польских соединений и полководческому искусству Я. Собеского [20, т. II, с. 486—518]. Однако политические результаты этой победы оказались далеко неадекватными вкладу в нее польского оружия. Из-за территориальных споров с Веной на Балканах [5, т. II, с. 105—106; 6, с. 232—236] Ян Собеский должен был искать новых союзников.

Переговоры 1684 г. польских дипломатов с русскими (С. Сандырев и др.) снова не увенчались успехом [27, ф. 79, 1684, № 4], планы возобновления сотрудничества с Францией в 1684—1685 гг. не осуществились [3, S. 98—101], надежды на возможность сотрудничества с Ираном также не оправдались [92, с. 151—160], а расчеты на союз с Крымом против Порты вообще оказались наивным заблуждением польского короля [24, с. 60—66; 6, с. 238]. Надежды на посредничество австрийских послов Бломберга и Жировского, побывавших в Москве весной 1684 г., также не оправдались [22, с. 533—534]. Предложенный ими договор о союзе с одной Австрией или договор о союзе с Австрией и Польшей без заключения «вечного мира» с последней не был принят главой тогдашнего русского правительства В. В. Голицыным [9, с. 370—373; 27, ф. 32, 1684, № 2, 3]. Между тем, пытаясь подготовить благоприятные политические условия для создания широкой антитурецкой коалиции в Восточной и Центральной Европе, Москва сочла нужным вступить в 1684 г. в переговоры со Швецией, с которой тогда же подтвердила Кардисский мир [1, № 1076] явно вопреки интересам Франции, Дании и Порты [27, ф. 96, 1683, № 112]. Примерно в то же время русское правительство обратилось и к Франции, у которой оно хотело получить гарантию мирной ее позиции на Рейне, что должно было предоставить Вене возможность вести активную борьбу на Дунае [27, ф. 93, статейный список Алмазова; 9, с. 375—380].

Все эти обстоятельства усиливали ту политическую группировку в правящих кругах Речи Посполитой, которая готова была ограничиться отвоеванием у турок Правобережья и Каменца, и ослабляла вместе с тем ту часть восточной магнатории, которая настаивала на возвращении Левобережья и Смоленщины.

Так возникла внутривосточная и международная основа для начала серьезных переговоров о заключении между Москвой и Варшавой не только союза, но и «вечного мира». Начавшиеся в январе 1686 г. в Москве переговоры между польскими послами Гримултовским, Гнинским и представителями русского правительства Голицыным, Шереметьевым и Бутурлиным на первых порах протекали медленно и без больших надежд на успех [27, ф. 79, кн. 224]. Однако они приобрели более ускоренный ритм, когда было получено известие о заключении в марте 1686 г. договора Вены с Бранденбургом и Швецией по поводу предотвращения каких-либо нововведений династического характера в государственно-правовую структуру Речи Посполитой [93, S. 470—485; 94, s. 24]. Итак, объективное развитие внутривосточных и международных событий подкавало Соборному правительству новую политику сотрудничества с Россией, основанную на заключении договора о «вечном мире» и союзе, о скоординированном ведении военных действий против общего противника.

Наконец, 6 мая 1686 г. такой договор был подписан. Он открывал, как мы уже подчеркивали, новую важную страницу не только в развитии взаимоотношений двух стран, но и в международной жизни всей Восточной и Центральной Европы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Полное собрание законов. Т. II. СПб., 1830.
2. K. Grzymułtowskiego Listy i mowy. Wyd. A. Jabłonowskiego. Warszawa, 1876.
3. Grönebaum F. Frankreich in Ost- und Nordeuropa. Die französischrussischen Beziehungen von 1648 bis 1689. Wiesbaden, 1968.
4. Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными, т. V, VI, VII. СПб., 1858, 1862, 1864.
5. Koperczyński W. Dzieje Polski nowożytnej, t. I, II. Warszawa, 1936.
6. Historia Dyplomacji Polskiej, t. II. Warszawa, 1982.
7. Imtich M. Geschichte des Europäischen Staatensystems von 1660 bis 1789. München, 1904.
8. Jabłonowski A. Źródła dziejowe, t. XXII. Polska XVI wieku. Ziemie ruskie, Ukraina. Warszawa, 1897.
9. Соловьев С. М. История России, кн. VII, т. XIV. М., 1962.
10. Ключевский В. О. Курс. Т. III. М., 1957.
11. Грушевский С. М. Украинский народ в его прошлом и настоящем. СПб., 1914.
12. Василенко Н. П. Территория Украины XVII в. — Юбилейный збірник на пошану акад. Д. И. Багалія. Київ, 1927.
13. Савич А. А. Борьба за Белоруссию и Украину в 1654—1667 гг. — Уч. зап. МОПИ им. Потемкина. Т. II, вып. 2. М., 1947.
14. Jorga N. Geschichte des Osmanischen Reiches, B. IV. Gotha, 1910.
15. Бабушкина Г. К. Международное значение Крымских походов 1687 и 1689 гг. — Исторические записки, № 33. М., 1950.
16. Klapp O. Das Jahr 1683 und der folgende große Türkenkrieg bis zum Frieden von Carlowitz 1699. Graz, 1882.
17. Kara Mustafa pod Wiedniem. Źródła musulmańskie do dziejów wyprawy Wiedeńskiej 1683. Kraków, 1973.
18. Leitsch W. Warum wollte Kara Mustafa Wien erobern? In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 1981, № 4.
19. Abrachamowicz Z. Tło polityczne i ekonomiczne wyprawy Wiedeńskiej Kara Mustafy. — Kwartalnik Historyczny, 1983, r. 90, № 1.
20. Korzon T. Dzieje wojen i wojskowości w Polsce, t. II, III. Warszawa, 1923.
21. Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России. Источники Малороссийской истории. Киев, 1903.
22. Очерки истории СССР. Период феодализма XVII в. М., 1955.
23. Koperczyński W. Polska a Turcja. Warszawa, 1936.
24. Chwaniec S. Sobieski wobec Tatarszczyzny 1683—1685. Kwartalnik historyczny, 1928, ч. 42, № 1.
25. Piwarski K. Między Francją a Austrią. Z dziejów polityki Jana III, 1687—1690. — Rozprawy Wydziału histor.-filozof. Kraków, 1933.
26. Wereszycki H. Historia Austrii. Warszawa, 1986.
27. Центральный Государственный архив древних актов.
28. Достян И. С. Борьба сербского народа против турецкого ига (XV — начало XIX в.) М., 1958.
29. Історія Української РСР. Т. I, II. Київ, 1977, 1979.
30. Яковлев А. И. Засечная черта. М., 1916.
31. Загоровский В. П. Белгородская черта. Воронеж, 1969.
32. Новосельский А. А. Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII в. М., 1948.

33. *Багалей Д. И.* Очерки из истории колонизации и быта степной окраины Московского государства. Т. I. М., 1887.
34. *Багалей Д. И.* Колонизация поворосийского края и первые шаги его на пути культуры. Киев, 1889.
35. *Голобуцкий В. А.* Черноморское казачество. Киев, 1956.
36. *Секирский С. А.* К вопросу о заселении Крыма в конце XVIII в. — В кн.: Известия Крымского пед. института им. Фрунзе, Т. XXIII. Симферополь, 1957.
37. *Дружинина Е. И.* Кючук-Кайнарджийский мир 1774 г. М., 1955.
38. *Дружинина Е. И.* Северное Причерноморье в 1775—1800 гг. М., 1959.
39. *Кабузан В. М.* Заселение Новороссии в XVIII — первой половине XIX в. М., 1976.
40. Очерки истории СССР. Период феодализма. Первая четверть XVIII в. М., 1954.
41. *Flassah M.* Histoire générale et raisonnée de la diplomatie française, t. III, IV. Paris, 1809.
42. *Wójcik Z.* Historia powszechna XVI—XVII w. Warszawa, 1973.
43. *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. Т. X.
44. *Lemercier-Quellejay Ch.* Le Khanat de Crimée dans les Archives du Musée du Palais de Topkapi. Paris, 1978.
45. *Федоров-Давыдов Г. А.* Общественный строй Золотой Орды. М., 1973.
46. *Иналзук Н. The Ottoman Empire. The Classical Age 1300—1600.* London, 1973.
47. *Смирнов В. Д.* Крымское ханство под верховенством Османской Порты до начала XVIII в. СПб., 1887.
48. *Греков И. Б.* Восточная Европа и упадок Золотой Орды на рубеже XIV—XV вв. М., 1975.
49. *Веселовский Н. Н.* Хан из темников Золотой Орды Ногай и его время. Петроград, 1922.
50. *Егоров В. Л.* Историческая география Золотой Орды в XIII—XIV вв. М., 1985.
51. *Греков И. Б., Шамазов Ф. Ф.* Русские земли в XIII—XV вв. М., 1986.
52. Русская историческая библиотека. Т. VI. СПб., 1908.
53. *Голубинский Е. Е.* История русской церкви. Т. II. М., 1900.
54. *Приселков М. Д.* История русского летописания XI—XV вв. Л., 1940.
55. *Лихачев Д. С.* Русские летописи. М.—Л., 1947.
56. *Spinei V.* Moldavia in the XI—XVII centuries. București, 1986.
57. История древнерусской литературы XI—XVII вв. М., 1980.
58. *Дончева-Понайотова Н.* Киприан — старобългарский и старорусский книжовник. София, 1981.
59. *Греков И. Б.* Варианты «Повести о нашествии Едигея» и проблема авторства Троицкой летописи. — В кн.: Исследования по истории и историографии феодализма. М., 1982.
60. *Kolanowski L.* Polska Jagiellonów. Warszawa, 1936.
61. *Kolanowski L.* Problem Krymu w dziejach jagiellońskich. — Kwartalnik historyczny, 1935, г. 49, № 3.
62. *Греков И. Б.* Очерки по истории международных отношений Восточной Европы XIV—XVI вв. М., 1963.
63. *Хензель В.* Проблема ясыря в польско-турецких отношениях XVI—XVII вв. — В кн.: Россия, Польша и Причерноморье XV—XVIII вв. М., 1979.
64. *Греков И. Б.* К вопросу о характере политического сотрудничества Османской империи и Крымского ханства в Восточной Европе в XVI—XVII вв. — В кн.: Россия, Польша и Причерноморье в XV—XVIII вв. М., 1979.
65. Османская империя и страны Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы XV—XVI вв. М., 1984.
66. *Семенова Л. Е.* Из истории молдавско-турецких отношений конца XV в. — В кн.: Россия, Польша и Причерноморье в XV—XVIII вв. М., 1979.
67. *Флоря Б. Н.* Русско-польские отношения и балтийский вопрос в конце XVI в. М., 1973.
68. История Венгрии. Т. I. М., 1971.
69. *Норн М.* Chronologia zasięgu najazdów tatarskich na ziemię Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1600—1647. In: Studia i materiały do historii wojskowości, t. VIII. Warszawa, 1962.
70. Очерки истории СССР. Период феодализма (конец XV — начало XVII вв.). М., 1955.
71. *Платонов С. Ф.* Древнерусские сказания и повести о смутном времени XVII в. СПб., 1913.
72. *Устрялов Н.* Сказания современников о Д. Самозванце. СПб., 1859.
73. *Смирнов И. И.* Восстание Болотникова. М., 1951.
74. *Флоря Б. Н.* Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине XVI — начале XVII в. М., 1978.
75. *Дмитриевский А.* Архипископ Елассонский Арсений и мемуары его из русской истории. Киев, 1899.
76. *Греков И. Б.* Об идейно-политических тенденциях некоторых литературных памятников начала XVII в. (Об авторе Пискаревского летописца). — В кн.: Культурные связи народов Восточной Европы в XVI в. М., 1976.
77. Полное собрание русских летописей. Т. 34. М., 1978.
78. *Кушева Е. Н.* Народы Северного Кавказа и их связи с Россией (со второй половины XVI в. до 1630 г.). М., 1963.
79. Собрание государственных грамот и договоров. Т. III, IV. М., 1822, 1828.

80. *Вайнштейн О. Л.* Россия и 30-летняя война (1618—1648). М., 1947.
81. *Szołowski Cz. Kudak.*— Kwartalnik Historyczny, 1926, г. 40, № 2.
82. *Александров В. А.* Организация обороны южной границы Русского государства во второй половине XVI—XVIII вв.— В кн.: Россия, Польша и Причерноморье в XV—XVIII вв. М., 1979.
83. *Заборовский Л. В.* Крымский вопрос во внешней политике России и Речи Посполитой 40—50-х годов XVII в.— В кн.: Россия, Польша и Причерноморье в XV—XVIII вв. М., 1979.
84. *Черепнин Л. В.* Собор 1642 по вопросу об Азове.— В кн.: Россия, Польша и Причерноморье в XV—XVIII вв. М., 1979.
85. *Смирнов Н. А.* Россия и Турция в XVI—XVII вв., т. I, II. М., 1946.
86. *Polska w okresie drugiej wojny północnej 1655—1660, t. I, II.* Warszawa, 1957.
87. *Голобуцкий А. В.* Дипломатическая история освободительной войны украинского народа 1648—1654 гг. Киев, 1962.
88. *Копреева Т. Н.* Русско-польские отношения во второй половине XVII в. Л., 1952.
89. *Галактионов И. В.* Из истории русско-польского сближения 50—60-х годов XVII в. Саратов, 1960.
90. *Файлов С. Ф.* Взаимоотношения России и Крымского ханства 1667—1677 гг. Саратов, 1986.
91. *Korzon T.* Dola i niedola J. Sobieskiego, t. III. Kraków, 1898.
92. *Chowantec Cz.* Z dziejów polityki Jana III na Bliskim Wschodzie.— Kwartalnik historyczny, 1926, г. 40, № 2.
93. *Moerner T.* Kurbrandenburgs Staatsverträge von 1601 bis 1700. Berlin, 1867.
94. *Konopczyński W.* Polska a Szwecja. Warszawa, 1924.



Липатис А. В.

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ОБЩЕЙ ИСТОРИИ СЛАВЯНСКИХ ЛИТЕРАТУР (ОТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ДО СЕРЕДИНЫ XIX В.)

Стремление осознать специфику истории славянских литератур во взаимосвязи с общеевропейским литературным процессом объективно ведет к идее создания общей истории славянских литератур, предложенной Д. С. Лихачевым [1—3], постулируемой А. Н. Робинсоном [4] и поддержанной Д. Ф. Марковым [5]. Разработка связанного с этим замыслом круга проблем возможна лишь при комплексном типе исследования, который в данном случае представляется особенно необходимым в силу самой специфики существования и функционирования древних литератур, непосредственно связанных с церковью, государством, отдельными корпорациями и общественно-политическими институтами, выступающими в роли и организаторов культурной жизни, и ее меценатов, и основных потребителей вырабатываемых культурных ценностей. В нашей славистике значительный опыт в области комплексных исследований накоплен в Институте славяноведения и балканистики АН СССР в процессе многолетних разработок круга вопросов, определяемых как «Закономерности развития народов Центральной и Юго-Восточной Европы в эпоху перехода от феодализма к капитализму»¹. Думается, что традиции отечественного литературоведения (здесь прежде всего следует назвать имена Ф. И. Буслаева, А. Н. Пыпина, А. Н. Веселовского, а в наше время — работы И. Н. Голенищева-Кутузова, Н. С. Державина, Н. И. Кравцова, Д. С. Лихачева, А. Н. Робинсона и других), общие достижения в области сравнительного изучения литератур являются достаточным основанием для перехода к практическому решению давней мечты славистов. Особое значение имеет и опыт Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР, выступившего как основной и координирующий усилия наших ученых центр в процессе работы над «Историей всемирной литературы».

Вопросы общих закономерностей истории славянских литератур привлекают в настоящее время и некоторых зарубежных ученых (в этом отношении показательны исследования Р. Пиккио).

Предлагаемая статья — посильный опыт продолжения отмеченных выше повсюду, предложений и устремлений².

Славянские литературы только зарождались в периоды средневековья, вошедшие в историю Европы как Каролингское и Оттоновское возрождение. Славянской параллелью к этому расцвету искусств, наук, философской, эстетической и правовой мысли было начало освоения первоэлементов

¹ Теоретические положения и практические результаты, получившие воплощение в ряде коллективных трудов, отражены в работах Д. Ф. Маркова [6; 7].

² Своего рода непосредственным «контекстом» этого исследования — его началом и пунктом соотнесения — являются мои статьи [8—10].

тов новой (связанной с христианством) культуры, которым еще предстояло проявиться в духе и превратиться в материю местного бытия, постепенно развиваясь на национальной почве.

Эта молодость славянства, о которой впоследствии столько писалось и с которой связывалось столько надежд, начиная по крайней мере с Гердера, предопределила своего рода сдвигнутость в прохождении славянскими культурами тех же (или подобных) стадий исторического развития, что и у ведущих европейских народов. Это же предопределило и то, что имея перед собой крупнейшие свершения таких народов в качестве ориентиров (играющих и роль эталонов), славянские культуры изначально встали на своего рода «ускоренный» путь развития. Ускоренным он был с точки зрения «наверствывания» времени в процессе создания духовных ценностей нового типа, самого времени прохождения исторически тех же, что и свойственные ведущим народам Европы, стадий, а также с точки зрения самих «сроков» создания национальных основ новоевропейского (связанного уже с христианством) инварианта культуры на местной почве. Под ударами не баловавшей славян истории (монголо-татарское нашествие, османское иго, германская угроза) это относительно ускоренное развитие у ряда славянских народов порой замедлялось или даже на какое-то время затухало, чтобы затем при более благоприятных исторических обстоятельствах с новой силой набирать разбег, разгораться.

Наверствывание в области культуры (социально-экономическая сфера — сопряженный с этим, но особый вопрос, отнюдь не всегда синхронизированный с духовной деятельностью [11, 12]) для одних народов (Россия и Польша) завершилось в эпоху Просвещения, для других после (и на основе) свершений эпохи национального возрождения, когда достигается качественный уровень европейского развития и появляются имена и творения, вошедшие в общеевропейский фонд культурных ценностей.

В сокращении культурных дистанций, наверствывании «исторически упущенного» наряду с разного рода связями с христианским Западом и Югом (Византия) огромное (и, в конечном счете, ведущее) значение имело создание отдельными славянскими народами собственной государственности. Эта последняя, будучи отражением степени зрелости этно-социального самосознания, не только способствовала развитию новой — христианизированной — национальной культуры, но и стимулировала это развитие в силу собственных идейно-политических потребностей и в нужном для себя направлении. Государственная организация способствовала и процессу обретения интернациональной и вненациональной по своему характеру церковью национальных черт и особенностей.

Институты церкви и государства выступали как основные в условиях средневековья меценаты в области культуры, и именно с ними в первую очередь связаны памятники письменности. Там же, где в силу исторических условий государственная система не была создана (например, словенцы, сербы лужицкие, словаки), возникновение собственно национальной письменности «затянулось» (вплоть до времен Реформации либо Просвещения и национального возрождения). Ее культурные функции здесь выполняла интернациональная письменность церкви и национальная письменность господствующей нации, в государственное объединение которой входил данный славянский народ. Фактом весьма знаменательным является и прямая зависимость между расцветом культуры (а в ее рамках — и литературы) и степенью развития собственной государственности (примеры: Болгария и Сербия времен независимости, с одной стороны, и османское иго — с другой; Русь до монголо-татарского нашествия и в последующий период национального угнетения; Польша времен централизованного государства и феодальной раздробленности). Крупнейшие достижения древнеславянских литератур в области беллетристики, включающие их в состав ведущих литератур Запада, совпадают с периодом расцвета собственной государственности (хорватский Дубровник и Польша времен Ренессанса и Барокко).

С началом новой европейской истории, открываемой эпохой Возрождения, появляется новый фактор, способствующий развитию национальных

литератур (в том числе и у народов, не имеющих собственной государственности). Помимо уже традиционного института церкви и связанных с ним просветительских организаций (школы, университеты, монашеские ордена; на Украине и в Белоруссии — братства) возникает тип новой культуры, порожденной Ренессансом и Реформацией. (На чешских и словацких землях им предшествовало гуситство, имевшее отзвуки на польских и украинско-белорусских землях.) Обращение к национальной стихии и творчество на родном языке (а не на языке церкви) в ренессансной Италии вместе с пробуждающимся после средневекового универсализма национальным самосознанием (результат процесса формирования феодальных народностей) привели к тому, что и в других странах как местная образованная часть общества, так и иностранные по своему происхождению миссионеры-поборники Реформации стали писать на языке местного славянского населения. (Используя урок своих противников, этим путем пошли и поборники Контрреформации.) Тем самым интерес к национальным языкам был свойственен и своим (с точки зрения этнической принадлежности), и чужим. Знаменательно, что именно на волне Реформации появляются словенская литература и словенское книгопечатание. Аналогичная ситуация в западославянской среде наблюдается и у сербов лужицких.

Другим фактором, детерминирующим облик культуры и тип образованности, было частное меценатство: дворы государственных правителей, крупных государственных и церковных сановников, отдельных представителей городского патрициата. Это последнее особенно характерно для Чехии и Польши, Далмации, Дубровника. В отношении королевского меценатства, возникающего уже во времена средневековья, показательна роль Карла IV в Чехии и Казимежа Великого в Польше. (С их именами связано и создание первых в славянском мире университетов — пражского в 1348 г. и краковского в 1364 г.) Роль частного меценатства усиливается по мере распространения процесса секуляризации культуры. Во времена Ренессанса и Барокко роль меценатов в культурной жизни особенно возрастает, становится в высшей среде модой и престижным занятием. Эпоха Просвещения и национального возрождения будет ознаменована появлением первых поколений интеллигенции в современном понимании этой социальной среды. Эта новая культуротворческая сила будет иметь все возрастающее значение по сравнению с государственной культурной политикой и меценатством. У народов же, лишенных независимости, именно интеллигенция будет принадлежать ведущая роль в формировании национального самосознания и создании основ современной национальной культуры.

Этническая общность славянских народов не имела коррелята в их литературной истории.

Разделение европейских народов на *Rex Latina* и *Rex Orthodoxa* постепенно распространилось и на славянство. Возникновение литературы здесь было актом перенесения соответственно римско-католической или византийской систем письменности в среду, где ранее ничего подобного не существовало, а основным выразителем духовной жизни был фольклор. Теперь эта «устная литература» постепенно сужает социальную сферу своего функционирования за счет появления новой (привнесенной извне) культуры высших сфер³. Эта отмеченная наднациональными чертами культура (см. [1, с. 23—24]) привилась довольно быстро, ибо, как еще в свое время отмечал Ф. И. Буслаев [15], славяне не создали столь развитый культ и порождаемую им мифологию, поэзию, как греки в античности или германцы и скандинавы средневековья. Славянские племенные верования не сложились в общую систему с единым Олимпом. Воздействие народной культуры на культуру по своему генезису привнесенную извне, а в рамках этого процесса — фольклора на литературу начнется позднее, когда перенесенный вариант не только достаточно привьется на местной почве, но и начнет в достаточной степени самостоятельно развиваться. Это просле-

³ Из новых работ, посвященных характеру социального функционирования древних литератур, особый интерес представляют исследования А. Н. Робинсона: 13; 14].

живается в славянских культурах как Западного, так и Восточного макрорегионов. При этом чрезвычайно важной отличительной чертой славянских литератур Византийского макрорегиона было создание языка-посредника. Этот древнецерковнославянский язык, понятный славянскому населению в отличие от латыни как языка-посредника в Западном макрорегионе, воспринимался несравненно более органично, был близок местным славянским культурам, способствуя тем самым более быстрому процессу усвоения здесь нового мирозерцания.

Следует отметить, что рассмотрение древнецерковнославянского языка и литературы, с одной стороны, и латинского языка и литературы — с другой, как явлений по своей роли и значению аналогичных для соответственно Восточного и Западного макрорегионов несколько проблематично. Тут необходимы оговорки. Собственно, посредничество древнецерковнославянского языка и связанной с ним литературы — одна из функций, а не нечто основополагающее. И в этом их коренное отличие от латыни как языка-посредника и латинской литературы как литературы-посредницы, являющими собой эталон, так сказать, в «чистом» виде. По крайней мере до XIV в. болгарская, древнерусская и сербская письменности (а также до XI в. и связанная с восточным обрядом струя в письменности древнечешской) составляли достаточно однородную относительную целостность благодаря преобладавшему наличию в каждой из них общих памятников на общем для них всех языке, который со временем обрел лишь некоторые местные отклонения от общих первоначальных норм, оставаясь живым явлением еще в XVIII в.

Исторически неизбежный распад праславянского единства сопровождался приобщением славянских народов к общности нового типа — уже не этнической, а культурной (надэтнической по своей сути). Христианство стремилось к объединению всех народов на основе единого и всеобъемлющего мировидения. Однако конкретная — социально-политическая — реализация философских принципов, т. е. «мирская» деятельность церкви постепенно, в течение веков вела не только к «обмирщению» церкви, но и (как результат этого процесса) к кризису средневекового христианского универсализма. Разделение церкви на Восточную и Западную, а позднее распад этой последней на католицизм и целый ряд реформационных ответвлений не объединял, а усугублял раскол Европы. В то же время первоначальная общность культурной доктрины предопределяла амбивалентную взаимосочетаемость враждебных друг другу христианских течений в рамках европейской цивилизационной целостности. Общие для этой цивилизации закономерности истории (появление и развитие отношений капиталистического типа, секуляризация культуры со времен Ренессанса) постепенно разрушали конфессиональные перегородки, воздвигнутые расколовшимся христианством, и обусловили новое (также межнациональное) сближение, но теперь уже на сугубо «светских» началах, связанных с ростом капиталистического производства, возникновением всеобщего рынка и диктуемыми сферой экономических интересов факторами международной политики. В этом новом мире роль церкви вопреки ее прежним притязаниям, но в полном согласии с евангельским принципом («богу — богово, кесарю — кесарево») была ограничена сугубо религиозной сферой. Более того, православная и протестантские церкви оказались в полном подчинении государству и использовались им в своих национальных целях, тогда как наднациональный католический центр — Рим, сохраняя свою независимость, вынужден был считаться с политикой отдельных католических стран и приспособливаться к их требованиям. История славянства, как и других народов Европы, развивалась в соответствии с этими общими для всего континента закономерностями. Судьбы письменности, рожденной христианством, были связаны с его историей, точно так же, как появление европейской литературы нового типа было неотделимо от процесса секуляризации культуры, обусловленного общественно-экономическими и национально-политическими факторами.

Диалектика всеобщего и национального просматривается в истории славянских литератур (как и всеевропейской литературной общности)

изначально. Национальное прошлое и современность неминуемо накладывали отпечаток на привнесенные извне общерегиональные стереотипы культуры и типы их местного функционирования. Национальные потребности, обусловленные местной общественно-политической ситуацией и государственным устремлениями, способствовали специфической разработке общих (для региона) жанров, художественных средств и приемов для отражения национальных тем, проблем, чаяний (наиболее яркие примеры времен средневековья — древнерусские летописи, сербские жизнеописания, чешская полемическая литература, связанная с гуситством). Тем самым уже с начальных этапов приобщения отдельных славянских народов к одному из культурных кругов общеевропейской целостности проявлялись как своеобразие, так и общие особенности славянства, что в дальнейшем получало развитие или обрывалось на какое-то время, иногда довольно длительное (как это было у словенцев, словаков, серболужичан) в зависимости от национальных исторических судеб. Причем здесь в качестве главного фактора, динамизирующего процесс усвоения всеобщего и развития на этой новой основе своего, национального, выступает собственная государственность.

Литературные регионы суть производные исторически изменяющихся межнациональных по своему характеру культурных общностей. Поэтому традиционная, основанная на этно-языковых принципах система дифференциации славянской литературной и культурной общности на южно-, восточно- и западнославянскую теперь, в свете нынешних представлений литературоведческой науки и, в частности, типологии (равно как и с точки зрения культурно-исторической, социально-экономической и политической), далеко не всегда и отнюдь не во всем отражает подлинное соотношение, близость судеб и сходный характер истории славянских культур после распада праславянского единства. Составляя этнические региональные общности, они волею истории не всегда и не во всем составляли общность в плане типологии общественно-политической, экономической, религиозно-культурной, литературной⁴. И это естественно, если учесть, что отнюдь не этнические факторы сами по себе являются главными, движущими силами истории. Как же в такой связи вырисовываются границы литературных регионов, рассматриваемых в качестве видовых единиц родового понятия европейской литературы, дифференцированной в прошлом на *Rex Orthodoxa* (центром которой в средние века была православная Византия) и *Rex Latina* (центром которой был католический Рим)?

Регион — это совокупность местных литератур, принадлежащих к одному из этих двух вариантов литературного процесса (и представляемых ими культур) в рамках европейской общности христианского типа. Региональное своеобразие предопределяется общностью мировосприятия, литературного языка или языков (греческого и старославянского для Византийского макрорегиона; латинского и старославянского — для макрорегиона Римского), состава памятников и их жанрового своеобразия. В свете собственно литературоведческих категорий регион представляет собой контактно-типологическую общность.

В сфере контактов исключительно важная роль на протяжении всего средневековья принадлежала литературам-посредникам. Типологическая

⁴ Это распространяется и на процесс формирования национальных литературных языков. «Славянские языки весьма своеобразны и индивидуальны, — отмечает С. Б. Бернштейн. — В типологическом отношении различия между ними значительно глубже, нежели различия между славянскими диалектными языками. Кроме того, варьируется привычное соотношение, построенное на генетической основе. Так, чешский и словацкий литературные языки в типологической классификационной схеме будут находиться очень далеко друг от друга, так как формировались в совершенно различных условиях» [16, с. 111]. См. также работу английского слависта Р. Оти «Традиция и инновация в развитии славянских литературных языков», где типологические ряды выявляются по принципу принятия или отказа от традиций в период формирования славянских литературных языков национального типа времен Просвещения и национального возрождения [16, с. 112—116]. См. также коллективный труд [17].

сфера в данном случае могла быть по отношению к контактной — ее производной, местное литературное развитие на протяжении средневековья осуществлялось как на пути филиации, так и создания оригинальных произведений на основе общего в доктринальном смысле мировосприятия, связанной с ним литературной эстетики и выдвигаемых ею образцов. Из внелитературных факторов особое значение имели близкие этнические традиции славянских народов, подобный общественно-экономический уровень, система правления, политические цели и осмысление собственного исторического прошлого. Внелитературные факторы — социально-политическая история в различных своих проявлениях — обуславливали само возникновение и изменчивость литературных регионов, отражая изменения судеб народов и их культур.

Славянские народы создавали свою государственность в период преобладания в Европе двух основных сил — Священной Римской империи и Византии. Это предопределяло как основные ориентиры политики, так и амплитуду колебаний славянских правителей болгарских, сербских, хорватских, словенских, чешских и словацких земель. Отсюда и амбивалентность сталкивающихся и взаимопереплетающихся христианских обрядов и связанных с ними литературных памятников, проникающих и из Византии, и из Рима. Взаимопереплетение и соперничество двух обрядов на названных славянских землях было характерно прежде всего до официального разделения церкви на Западную и Восточную (1054). Оно продолжалось и позже, но уже в условиях более или менее разделенных сфер влияния и, естественно, в несравненно более заостренных и непримиримых формах. Все это сказывалось на умственной жизни. Доктринальная «чистота», связанная с принятием христианства только из одного источника и соответственно в Восточном или Западном вариантах, была изначально свойственна только болгарскому, древнерусскому и польскому ареалам. На начальном этапе славянской литературной истории (IX — начало XI в.)⁵ региональные границы преобладавшей части славянской письменности размыты, что связано с параллельным и относительно синхронным проникновением христианства двух типов. Отсюда своего рода «двуединность» этих литератур (и культур), диктующая целесообразность их рассмотрения в свете взаимопереплетающихся культурных воздействий византийского Востока и романо-германского Запада. Крупнейшим свершением этого периода было создание славянского литературного языка. Став языком письменности в *Pax Slavia Orthodoxa* он бытовал и в части *Pax Slavia Latina*, где по мере возобладания римской церковной ориентации служил проводником западной литературы, ее эстетических канонов и жанрового состава. Существовая параллельно с латынью, этот язык в результате государственной политики угасает к концу XI в. в Чехии. В Хорватии несмотря на притеснения со стороны итальянского, а затем и немецкого духовенства национальные священнослужители-глаголиты в длительной борьбе отстаивали права языка, воспринимаемого как свой, собственный.

Эта типологическая аналогия начального периода чешской и хорватской литератур — представительниц южного и западного славянства — имела эпохальное значение для дальнейшего типологического параллелизма судеб письменности у этих народов. Знаменательно, что среди всех западных славян, принявших западнохристианский обряд (а вместе с ним и письменность на латыни), памятники на родном языке раньше всех появляются именно у чехов⁶. Наличие, наряду с латинской, литературы на близком и понятном массам старославянском языке было в XII в. (когда появляются на чешском языке первые фрагменты Евангелия и Псалтири, а также религиозная лирика) не только традицией. Сам факт такого бытия письменности, осознание возможности ее существования на ином языке, нежели общая для всей католической Европы латынь — все это обусло-

⁵ Естественно, хронологические рубежи не рассматриваются здесь жестко, это скорее условные вехи, призванные играть роль ориентиров. (Ср. [18; 19]).

⁶ Согласно некоторым современным концепциям, чешский религиозный гимн «*Hospodine, pomiluj nu*» возник около X, а не, как раньше полагали, в XII в.

вило назревание нового процесса: если ранее столкновение латыни и старославянского привело к концу первого периода (под воздействием политических факторов) к победе литературы на латинском языке, то теперь, в новых исторических условиях, под воздействием формирующегося местного самосознания наступает победа национального языка в рамках существующей культурно-религиозной общности. В дальнейшем новый толчок к развитию письменности на родном языке дали гуситство и ренессансные веяния, причем гуманистическая трактовка национального языка как языка своей культуры (славянские отзвуки и славянская параллель к современным дискуссиям в Италии [20]) получила резонанс у западнославянских соседей. Чешский литературный язык, достигший расцвета в XV—XVI вв., кодифицированный и нормализованный в XVI в., служил примером для польских писателей и ученых XV — первой половины XVI в., когда происходило формирование польского литературного языка. Этот западнославянский феномен имел типологический аналог в католической части южного славянства: старославянский язык глаголитского духовенства постепенно распространяется и на светские памятники, где все более и более начинает давать о себе знать живой разговорный язык чакавского диалекта. На его основе в XII—XIV вв. складывается хорватская редакция старославянского языка, а в XIV в. появляется тот хорватский литературный язык, на котором расцветает далматинская и дубровницкая литература времен Возрождения и Барокко.

Итак, на первом этапе своей истории (IX—XI вв.) древнеславянские литературы по своему характеру образуют три региона: первый — наиболее обширный по своему этно-географическому ареалу — амбивалентен (с точки зрения взаимосуществования восточно- и западнохристианской обрядности, параллелизма старославянского и латинского языков письменности). Сюда входят земли чехов, словаков, паннонских славян, части племен на юге будущей Польши, территория Словении, Хорватии (где деятельность Кирилла и Мефодия, их последователей сочеталась с деятельностью немецких или итальянских миссионеров), Сербии. Общие для еще не разделившейся окончательно церкви памятники приходили как из Византии, так и Рима. Однако постепенно (с X в.) начинает нарастать роль латыни и связанного с нею типа обрядности и культуры, знаменуя начало нового типа истории древнеславянских письменностей этого региона. Только в Сербии первоначальное преобладание (либо даже исключительное наличие: согласно некоторым новейшим концепциям первые известные ныне сербские тексты восходят к IX—XI вв.) латинской письменности (обусловленное политический ориентацией местных правителей, отстаивающих свои земли в борьбе с Византией и Болгарией) сменится (со второй половины XII в.) преобладанием письменности на старославянском языке. Это произойдет в период прихода к власти династии Неманичей и в связи с их переориентацией на *Pax Orthodoxa*. С этого времени сербская культура и письменность как ее составная часть будут представлять второй из выделяемых здесь регионов. Остальные же названные народы по мере возобладания ориентации *Pax Latina* будут входить в третий регион.

В отличие от гетерогенного облика первого региона второй по величине регион отличался гомогенным характером⁷, обусловленным уже самим своим генезисом — принятием христианства из одного источника (Византии). Первоначально сюда входят древнеболгарская и древнерусская письменности, позднее (с XII в.) — древнесербская.

Третий регион — также гомогенный — но уже западного типа изна-

⁷ Следует отметить, что в этом, как и в других подобных случаях, реконструкция древней литературной истории весьма относительна, ибо основывается лишь на какой-то части сохранившихся памятников — причем памятников официальной литературы. Сильное богомилское течение в болгарской и сербской письменности до нас не дошло и известно лишь по полемическим фрагментам его оппонентов. Отсюда понятие гомогенности применительно к древнеболгарской и древнесербской литературам весьма условно: оно относится к той литературе, которая представлена дошедшими до нас памятниками.

чально представлен польским, затем хорватским и словенским, а с XI в. также чешским и словацким ареалами.

Разделение христианской церкви, с одной стороны, а с другой — социально-экономические процессы, получившие свое отражение во внешне-политической ориентации славянских государств или государственных объединений, в которых волею исторических судеб оказались отдельные славянские народы, в конечном счете обусловили региональную специфику и определенную стабилизацию региональных границ в течение XI—XII вв., когда после постепенного распада первого гетерогенного региона окончательно сформировываются два гомогенных по своей сути — *Pax Slavia Orthodoxa* и *Pax Slavia Latina*. Первый из них типологически является составной частью Византийско-православного, второй — Римско-католического макрорегионов, составляющих целое европейской культуры.

Относительная асинхронность (а в случае письменностей, перешедших во второй и третий регионы из распадающегося первого, — неоднородность) развития славянских литератур первого (с точки зрения общих закономерностей) периода в то же время характерна быстрыми темпами наверстывания — хотелось бы продолжать: «исторически упущенного». Но это не так, ибо исторически славяне были более молодыми народами. Поэтому объективно они не упустили, ибо появились позже, и (если рассуждать несколько метафорически) со свойственной молодому организму силой и нетерпеливостью догоняли «старших», несмотря на трудности роста и те преграды, которые воздвигла перед ними история.

Дальнейшая динамика внутри- и межрегиональных изменений обуславливалась, с одной стороны, культурно-историческими факторами межнационального масштаба (Ренессанс, Реформация, Контрреформация), с другой — событиями местной истории. Среди этих последних прежде всего следует выделить — в сфере восточного славянства — монголо-татарское нашествие, борьбу за национальную независимость и возникновение Московского государства; переход земель, ставших центрами формирования украинской и белорусской народностей, в состав Великого Княжества Литовского и Польши. Для южного славянства — османское иго на Балканах, разрушившее государство и затруднившее культурное развитие болгар и сербов; специфика бытия хорватской и сербской народностей, каждая из которых была разъединена границами разных государств. Для западного славянства — национально-религиозные движения в Чехии и Словакии — от Гуса (XV в.) до Белогорской битвы (1620), когда возобладала связанная с католицизмом сила Габсбургской монархии, что обернулось национальным угнетением.

Отличительной чертой второго периода является относительная однородность и синхронность внутрирегионального историко-литературного процесса. В дальнейшем исторические катаклизмы нарушат синхронность в *Pax Slavia Latina* (самый яркий пример — чешская литература на протяжении XVII и почти всего XVIII в.), не изменяя, однако, типологической природы, тогда как в *Pax Slavia Orthodoxa* события истории предопределяют пути и время перемен в самом типе литературного процесса, обуславливая тем самым переход некоторых литератур в другой регион.

Конфессиональная общность, политические, экономические, научные контакты, сам характер географического соседства и уже сложившиеся местные традиции христианизированной культуры западного типа способствовали дальнейшему развитию средневековых литератур в Польше, Хорватии, чешском и словацком этническом ареале в русле единых для всего Западного макрорегиона философско-эстетических концепций. Единым был здесь и характер образования, находившегося в ведении церкви с общим центром в Риме, точно так же, как и школы многочисленных, рассеянных по Европе монашеских орденов, каждый из которых имел свой общий вне- и наднациональный центр. При этом национальная, обусловленная конфессиональными факторами культурная общность *Pax Latina* по крайней мере со времен Каролингского возрождения все более и более явно дифференцировалась на как бы вписанные в нее романский и герман-

ский культурные круги. Эта дифференциация постепенно усиливалась, обретая особенно ярко выраженные формы в период расцвета национальных культур ряда романских и германских народов во времена Ренессанса. Среди славянских народов, волею исторических судеб оказавшихся в рамках Западного макрорегиона, просматриваются две ориентации — романская (хорваты, поляки) и германская (чешско-словацкий, серболужицкий и словенский этнические ареалы). Это предопределило и наличие двух типологических линий, характеризующих особенности чисто литературного свойства. В качестве примера можно отметить параллель между чешской и немецкой литературами эпохи Возрождения с такими характерными чертами, как книжный, ученый, филологический характер, обусловивший неразвитость беллетристики и ведущую роль жанров научной письменности и публицистики, которые были типичны и для средневековья. Преемственность этих эпох здесь более непосредственна, а связь их более тесна, чем в романском мире. (Сразу же следует оговориться, что речь идет о преобладающих тенденциях.)

Романская линия, озаменованная итальянским Ренессансом, расцветом французской и испанской литератур, характерна развитием беллетристики, что находится в прямой связи с секуляризацией личности и эволюцией светской культуры (тогда как германскому кругу в общем был чужд «идеал всестороннего развития сильной человеческой личности, языческого сенсуализма, новой светской культуры» [21]). В славянском мире этот процесс охватил хорватов (Далмация и Дубровник) и поляков. Здесь возникают литературы, философско-эстетический облик которых, равно как жанровая система и стилевые течения, отражают мировосприятие, тип культуры и характер творчества нового времени. Произведения хорватских и польских писателей представляют с разной степенью разработанности и полноты все жанры эпоса, лирики и драмы, свойственные наиболее развитым литературам эпохи Возрождения. Развивается литературно-теоретическая мысль. Прямые контакты, прежде всего с Италией, а также Францией и Испанией способствуют динамизации процесса сближения и взаимного познания. При этом творчество крупнейших славянских писателей — новое по всему своему идейно-художественному облику и самобытное в своем звучании — подтверждает мысль А. С. Бушмина о том, что «вливания лишь в малой степени характеризуют их значение для литературы своего и последующего времени. Более важно уяснить, что каждый из этих поэтов показал меру художественных возможностей своего народа, резко повысил уровень национальной эстетической мысли и тем самым оказал общее воздействие на весь ход дальнейшего литературного развития и на отдельные творческие индивидуальности» [22]. Имена Ивана Гундулича, Д. Б. Вучича, Я. Кохановского, М. Семпа Шажиньского, Ш. Шимоновица могут представлять славянские литературы на европейском Парнасе того времени.

Преобладание романской или германской линии, по-видимому, нельзя свести к действию какого-либо одного фактора. Географическая близость, политические и разного рода иные связи, обусловленные непосредственным соседством, играли, несомненно, важную роль. Однако наряду с этим выступали и такие факторы, которые в определенные исторические периоды оказывались сильнее давних традиций и сложившихся отношений. Например, Реформация, пришедшая к хорватам из Германии, оказалась на какое-то время сильнее давних католических (и связанных с ними романских) культурно-художественных представлений, навыков, характера творческой практики. Так было и на значительной части польско-литовских, а если речь идет о православно-византийском ареале — украинских, белорусских, а также в незначительной степени — болгарских земель. Как известно, Реформация дала толчок к созданию словенской и серболужицкой письменности, развитию в новом направлении части письменности у тех народностей, которые имели ее раньше. В то же время Реформация периода ее зарождения и распространения не способствовала развитию художественной литературы. Объективно в начальном периоде Реформации была продолжена средневековая традиция в отношении

жанров, как впрочем, и самого духа и роли религии в жизни общества (с тем что, естественно, религиозное учение модернизировалось в соответствии с определенными потребностями нового времени). В таком контексте можно вспомнить слова Меринга о том, что «Реформация... была борьбой варварства против цивилизации», или слова Энгельса о Реформации как «национальном несчастье», приключившемся с немцами [23; 24]. Все усилия протестантских писателей были направлены, с одной стороны, на критику католицизма, а с другой — на обоснование, утверждение, распространение новой доктрины. Отсюда преобладание полемической и социально-философской литературы, богословских трактатов, проповедей, разного рода сатирических жанров, публицистики. Из сферы, близкой беллетристике, пожалуй, только религиозные лютеранские песнопения в определенной степени представляют художественную литературу в собственном смысле этого слова (Лютер: «Кто поет, тот молится вдвойне»). Поэтому в Германии и Чехии (где Реформация была связана также с социально-политическим движением, неразрывно сочлененным с национальным самощущением) письменность брала верх над беллетристикой. Здесь в литературе Возрождение было близко средневековью как в аспекте генологии, так и с точки зрения преобладания религиозно-доктринальных идей, теологических споров, тогда как светское мироощущение и собственно художественные проблемы оставались в стороне. Знаменательно, что и в Польше, где в это время расцвела беллетристика, Реформация, существовавшая параллельно с католицизмом, оставила богатое наследие только в области публицистики и социально-философской мысли.

В восточнославянском мире (и литературах) аналогом этого глобального конфликта была полемика православия с католицизмом — особенно в украинской и белорусской среде в пределах Речи Посполитой и Великого Княжества Литовского, деятельность поборников Реформации и Контрреформации на этих (а отчасти — и без особых успехов — на болгарских и сербских) землях и как результат контрреформационной экспансии — создание униатской церкви. В украинской и белорусской письменности этих бурных и драматичных времен проявляется тот же, что и на Западе, накал, вырисовывается тот же генологический облик (преобладание полемических жанров, сатирико-публицистических произведений, богословских трактатов). В древневеликорусской литературе своего рода параллелью к этому процессу были времена раскола.

Вообще, в типологическом отношении, слабость беллетристики в протестантских литературах (в начальный период их существования) и причины ее были в определенной степени близки характеру православных славянских литератур этого же времени, где религиозная доктрина препятствовала процессам секуляризации литературной культуры. Литературы же католического мира опережали эти письменности в области беллетристики, ибо непосредственно ориентировались на итальянское Возрождение, связанное с модернизирующимся католицизмом и его системой ценатства (включая папское).

Продолжая рассмотрение факторов, способствовавших преобладанию в древнеславянских литературах романской или германской линии (как условное обозначение рядов соответственно — «беллетристики» и «небеллетристики»), следует, наконец, отметить и наличие той неподдающейся научно-рационализированной дефиниции или однозначному определению группы социально-психологических и общекультурных особенностей этноса, которые издавна квалифицируются как «национальный характер», «дух нации» и национальные особенности вообще. Вероятно, именно это, помимо известных причин геополитического свойства способствовало тому, что поляки, несмотря на изначальную связь с католицизмом через немецкое и чешское духовенство постепенно, но относительно быстро переориентировались на «романский круг», точно так же, как хорваты сохраняли с ним связь, несмотря на те же факторы геополитического свойства, стягивавшие их в германскую орбиту. Отсюда (а не только под воздействием извне) столь бурное развитие польской и хорватской ренессансной беллетристики с характерным для нее индивидуальным началом и свет-

ской лирикой — беллетристики, отражающей национальное мировидение со свойственным ему складом ума, специфическими поисками и духовными потребностями. Может быть, именно беллетристические формы были ближе национальному характеру поляков и хорватов (естественно, в органичной сопряженности с их исторической и актуальной общественно-политической ситуацией, типом и уровнем культуры, спецификой стоявших перед народом проблем). Для древнерусской литературы в этом отношении помимо фольклора (выполнявшего беллетристические функции) симптоматичен весьма распространенный жанр разного рода повестей (может быть, именно отсюда — при всех очевидных отличиях философско-эстетического плана — выводится родословная великой русской художественной прозы, ставшей общеевропейским достоянием и, вероятно, наиболее полно отразившей дух нации, ее неповторимые особенности и специфическое мировидение). Непосредственным истоком истории художественной литературы является Ренессанс. В дальнейшем существовавшие параллельно барокко и классицизм были продолжением и модификацией ренессансной системы беллетристики, предопределив специфику литературной истории и литературной культуры XVII — начального периода XIX в. Причем для формирования единого общеевропейского литературного процесса (означенного слиянием Западного и Восточного макро-регионов) особое значение имело барокко как первое литературное направление, охватывавшее (в той или иной степени) все литературы Европы [25; 26].

Движение к синтезу было обоюдным и усиливалось вместе с нарастанием общественно-экономических предпосылок и продиктованных ими государственно-национальных потребностей. Однако начальные стадии и темпы этого движения в разных литературах были разными. Раньше всех (по крайней мере — с XV в.) на путь синтеза «византийских» и «латинских» эстетических ценностей вступили при польском посредничестве украинская и белорусская литературы. Это было обусловлено прежде всего геополитическими факторами: существование в границах Великого княжества Литовского создавало то «сходство общественного быта», которое, согласно Плеханову, обуславливает «влияние литературы одной страны на литературу другой» [27]. В русской литературе это особенно явно проявилось в XVII в. и было связано с усилением Московского государства и его постепенным выдвиганием на европейской арене. Процесс сближения с литературной системой *Rex Latina* происходил при посредничестве конфессионально близких украинской и белорусской литератур и наиболее развитой в то время литературы славянского мира — польской (а отчасти и чешской). Тем самым процесс сближения *Rex Latina* и *Rex Orthodoxa* в этой части общеевропейского литературного ареала осуществлялся исключительно на славянской основе. Это сближение осуществлялось в русле барокко, которое здесь приняло на себя и некоторые ренессансные функции, что в перспективе подготавливало русскую литературу к классицизму, сентиментализму и рококо — явлениям XVIII в., означенного полным вхождением русской словесности в систему давней *Rex Latina*. Давней, ибо в новых условиях это название имело лишь исторический смысл (как до этого византизм без Византии). Теперь это был уже тип литературной системы, выросший из давней *Rex Latina*, а ныне — в «век Просвещения» — развивающийся уже на основе сугубо светских традиций, светской культуры, светских устремлений в философии, идеологии, эстетике.

Переориентация восточнославянских литератур имела важное значение для судеб православной словесности южных славян. Существовая в силу исторических факторов в русле прежней средневековой системы, они постепенно, с XVIII в., начинают свое движение в том же направлении. Параллельно под воздействием известных социально-исторических факторов начнется оживление и в культурах западных славян, лишенных собственной государственности. Однако здесь литературное движение будет осуществляться в «привычном», традиционном для этих народов русле, тогда как болгарские и сербские писатели должны были не только продол-

жать или даже возобновлять прерванную нить традиций национальной письменности, но со временем и постепенно осуществлять переход от средневековой по своему типу византийской системы к литературной системе нового для них типа. Эта «двойная» историческая миссия, выпавшая на их долю, предопределила и более медленные, нежели в литературах *Rex Slavica Latina* того же периода, темпы развития.

Времена Просвещения и национального возрождения славянских народов — это одновременно и завершающая фаза общеевропейской по своему масштабу и эпохальной по значению для истории европейского литературного процесса тенденции, когда общее сближение будет идти не только по линии окончательного отмирания «остатков» древней *Rex Slavica Orthodoxa* (в литературно-типологическом аспекте этого понятия), но и по линии возникновения литературной общности нового типа. Это ощущали уже современники: знаменательна выдвинутая И. В. Гете в 20-е годы XIX в. идея мировой литературы. Общественно-исторические основы становления всемирной литературы отмечены Марксом и Энгельсом в «Манифесте Коммунистической партии» (1848).

Предложенная здесь концепция общих закономерностей истории славянских литератур, а в ее свете (и взаимосвязанное с нею) — выделение литературных регионов в динамике исторических изменений — осуществлялась на основе рассмотрения крупных отрезков времени. Такого рода практика может служить подтверждением мнения Д. С. Лихачева о том, что «деление на периоды не должно быть слишком дробным, чтобы дать возможность выявить типологически сходные явления на сравнительно больших хронологических отрезках» [3, с. 319]. В дальнейшем представляется возможным уже выявленное на материале целых эпох детализировать, сосредоточивая внимание на отдельных ступенях движений литературного процесса в двух макрорегионах к синтезу, либо исходя из типологии отдельных течений (например, народно-городская литература в *Rex Slavica Latina*, скоморохи и юродивые на Руси, странствующие дьяки на Украине), направлений (например, барокко, классицизм, сентиментализм, романтизм и т. д.) или жанров.

Сейчас, по мере рассмотрения материалов истории славянских литератур в европейском контексте, все более проясняется общая картина. Становится все очевиднее, что решение насущных собственно национальных проблем в условиях общих для всей Европы социально-экономических закономерностей, политической жизни, философских и художественно-культурных веяний предопределило как специфичность, так и всеобщность славянских литератур в рамках всевропейского литературного процесса.

Представленная здесь концепция изложена суммарно и лишь в самых общих чертах. Это своего рода контуры намеченного плана исследований. Ее детальное обоснование на основе отдельных явлений, писательских имен и процессов будет представлено и конкретизировано в коллективном исследовании «Славянские литературы в процессе становления и развития (от древности до эпохи формирования наций)», которое подготавливается в Институте славяноведения и балканистики АН СССР. Эта работа продолжает ведущиеся институтом в течение ряда лет комплексные исследования основных закономерностей формирования славянских наций и их культур. Она задумана как труд, который в дальнейшей своей перспективе подготавливает теоретические и историко-культурные материалы для создания в будущем общей истории славянских литератур.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лихачев Д. С. Древнеславянские литературы как система. — В кн.: Славянские литературы. VI Международный съезд славистов. М., 1968.
2. Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVII вв. М., 1973, с. 12.
3. Материалы к V Международному съезду славистов. — Изв. АН СССР, ОЛЯ, 1963, т. XXII, вып. 4, с. 318—319.
4. Робинсон А. И. Задачи литературно-исторической типологии при изучении древнейшей русской литературы. — В кн.: Пути изучения древнерусской литературы и письменности. Л., 1970, с. 30.

5. *Марков Д. Ф.* Вопросы теории и методологии сравнительного изучения славянских литератур.— В кн.: Славянские литературы. VII Международный съезд славистов. М., 1973, с. 49.
6. *Марков Д. Ф.* Сравнительно-исторические и комплексные исследования в общественных науках.— Вопросы истории, 1973, № 10.
7. *Марков Д. Ф.* За дальнейшую интеграцию исследований в общественных науках.— Вопросы философии, 1982, № 1.
8. *Липатов А. В.* Славянские литературы и общеевропейский литературный процесс эпохи Средневековья. Общие закономерности, связи, специфика.— Советское славяноведение, 1978, № 4.
9. *Липатов А. В.* Древнеславянские письменности и общеевропейский литературный процесс. К проблеме исследования литератур как системы.— В кн.: Барокко в славянских культурах. М., 1982.
10. *Липатов А. В.* Славянское Просвещение в общеевропейском контексте.— В кн.: Литература эпохи формирования наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. Просвещение. Национальное возрождение. М., 1982.
11. *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т. 12, с. 736; Т. 13, с. 7.
12. Архив К. Маркса и Ф. Энгельса. Т. X, с. 348.
13. *Робинсон А. Н.* Литература Киевской Руси среди европейских средневековых литератур.— В кн.: Славянские литературы. VI Международный съезд славистов. М., 1968.
14. *Робинсон А. Н.* Об историко-функциональном изучении памятников древнерусской литературы.— Изв. АН СССР, Сер. лит. и яз., 1979, т. 38, вып. 6, с. 521—529.
15. *Буслаев Ф. И.* Народная поэзия. СПб., 1887, с. 216.
16. Славянские культуры в эпоху формирования и развития славянских наций XVIII—XIX вв. М., 1978.
17. Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. М., 1973.
18. *Липатов А. В.* Периодизация литературы польского Просвещения.— Советское славяноведение, 1971, № 3.
19. *Липатов А. В.* Теоретическая проблематика стыка литературных эпох.— Советское славяноведение, 1979, № 6.
20. *Голенищев-Кутузов И. Н.* Итальянское Возрождение и славянские литературы XV—XVI вв. М., 1963.
21. *Алексеев М. П., Жирмунский В. М., Мокульский С. С., Смирнов А. А.* История зарубежной литературы. М., 1959, с. 308.
22. *Бушмин А. С.* Преемственность в истории литературы как проблема исследования (на материале восточнославянских литератур).— В кн.: Славянские литературы. VI Международный съезд славистов. М., 1968, с. 282.
23. *Меринг Ф.* История Германии. М., 1924, с. 43.
24. *Энгельс Ф.* Диалектика природы. М., 1969, с. 6.
25. Славянское Барокко. М., 1979.
26. Барокко в славянских культурах. М., 1982.
27. *Плеханов Г. В.* Избранные философские произведения в пяти томах. Т. I. М., 1956, с. 658.



К ВОПРОСУ О ЛИТЕРАТУРНОМ СТЕРЕОТИПЕ В ПОЛЬСКОЙ РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ

Взгляд романтиков на искусство как на «вечное символизирование» (Ф. Шлегель) предполагает обращение не только к новым образам-символам, но и к уже известным, апробированным, повторяющимся. Устойчивые образы широко распространены в романтической поэзии. Вспомним некоторые из них: ладья, парус, кинжал и многие другие. Известный русский литературовед Г. А. Гуковский в книге «Пушкин и русские романтики» писал, что в эпоху романтизма особое значение приобретали слова-символы освободительной терминологии.

Устойчивые словосочетания, образы-символы в определенной ситуации прочтения, толкования, интерпретации текста превращались в стереотипы.

Что такое стереотип в поэзии, каково его место и значение? Можно ли считать стереотип литературной категорией? На эти и многие другие вопросы еще нет ответа, а между тем термин этот имеет достаточно широкое хождение в литературоведении. Как правило, со знаком минус. А отношения между понятиями «стереотипизация» и «художественность» представляются полярными.

Между тем, как пишет Ю. М. Лотман [1], штамп в искусстве не всегда имеет пейоративное значение. Ему принадлежит большая роль в процессе познания, в передаче информации. Как известно, схематизация действительности в понятиях и образах есть необходимое условие всякого познания. Тартуский ученый употребляет слово «штамп» в значении стереотипа, а значит в виду имеется и повторяемость и условность или конвенциональность.

Проблемам конвенциональности, «общим местам», стереотипам уделяется большое внимание в работах польских ученых [2—4]; в них можно обнаружить следующее разделение этих понятий: к литературной конвенции относится широкий круг понятий — и жанровые шаблоны, и метрические каноны, и фабульные схемы, стереотип трактуется как некая часть своеобразного знания о действительности.

Как известно, изначально слово «стереотип» было связано с полиграфической техникой. В Толковом словаре русского языка Ушакова переносное значение слова «стереотипный» объясняется как «неизменно повторяющийся, такой как всегда, все тот же самый, шаблонный» (т. IV, с. 572). Сходную формулировку можно найти в Большой советской энциклопедии. В более широком смысле понятие стереотипа означает то, что схематично, банально, повторяемо. В таком значении это слово вошло в разговорный язык и стало метафорой для неиндивидуализированных и повторяемых явлений. Такое понимание или толкование стереотипа подразумевает классификацию негативных черт и используется как в вербальном (литература), так и не вербальном (живопись, театр) знаковом материале: «стереотипное описание природы», «стереотипный пейзаж», «стереотипная игра» (об актере) и т. п. Это — примеры стилистического отождествления разного рода штампов со стереотипами.

В социологии стереотип означает представление о классе единиц, групп или предметов, основанное не на оценке каждого из них, а на общих, по большей части рутинных, представлениях. В формировании социологической теории стереотипа заметную роль сыграли работы В. Липпмана [5; 6], который считает, что не существует нестереотипного мышления. Стереотипы — это «образы в наших головах», предшествующие работе интеллекта. Кроме того, стереотип является оплотом традиции. По мнению автора диссертации «Гносеологический анализ проблемы стереотипа» С. А. Мурадяна [7], неверно утверждение Липпмана о том, что широким массам не пужна свобода выбора, они предпочитают стереотип. С. А. Мурадян подвергает критике липпмановскую концепцию стереотипа, в соответствии с которой все содержание идеологии и социальной психологии объявляется стереотипным. Не вдаваясь в анализ и критику точки зрения В. Липпмана, ограничимся лишь этими самыми общими положениями, необходимыми для освещения избранной темы в рамках краткой журнальной публикации.

С гносеологической точки зрения стереотип определяется как объективизированное знание [7, с. 10]. В то же время он может быть понят как своеобразное выражение опережающего отражения действительности и как таковой может служить основой предположения о присутствии стереотипа во всех сферах познания [8]. В свете этого предположения стереотип играет заметную роль и в сфере художественного познания и отражения действительности.

Проблеме литературной коммуникации посвящен ряд работ, в которых, в частности, стереотипу отводится решающее значение [9]. Здесь очевидна связь с теорией информации, согласно которой категория стереотипа считается универсальным средством отбора и передачи информации.

Достаточно этого очень неполного, краткого и неизбежно схематичного перечисления связанных со стереотипом проблем, чтобы убедиться в том, насколько они многоаспектны, интересны, непросты и, возможно, спорны.

Как писал известный польский поэт Юлиан Пшибось, слово великой поэзии «*przysłowie*» (от *przysłowie* — пословица), и это не только игра слов. Действительно, многие слова становятся символами, превращаются в пословицы и поговорки. Поговорка, в свою очередь, по словам Г. Л. Пермякова [10], есть некая логическая конструкция, знак, определяющий ситуацию или вещные связи, способствует закреплению и распространению стереотипа.

Литературный стереотип создается на основе литературного опыта. В определенной исторической ситуации стереотип используется для оценки действительности. Участие литературы в квалификации событий находится в основе ставших в интерпретации романтиков стереотипными образов, таких как Дон Жуан, Дон Кихот, Гамлет.

Правда, как это стало, скажем, со стереотипом Дон Жуана, претерпевшего за долгое время немало изменений, тип тривиального соблазнителя уже ничего общего не имеет с литературным первообразом. Трагичный и многозначный герой, созданный в испанской драме Тирсо де Молина, в комедии Мольера приобретает комические черты, в опере Моцарта — мелодраматические. В эпоху романтизма — это разочарованный герой новеллы Э. Т. А. Гофмана, ветреный и своевольный скептик у Байрона, разочарование которого вызвано порочностью общества. Пушкинский Дон Жуан — смелый, обаятельный, одаренный человек, которого губят страсти, эгоизм. Индивидуализм романтического Дон Жуана — предвестник бунта за права личности.

При возникновении стереотипа происходит схематизация образа, его упрощение, выделение одной, ставшей доминирующей, особенности личности героя. Почему? Зависит ли это от особенности восприятия, уровня культуры, влияния общественного мнения, или это «вина» (особенность) самой литературы, повторяемость, тиражирование сюжетов и образов и неизбежны при этом потери, особенно в эпигонской литературе?

Обратимся к другим примерам. Если современники Сервантеса, верь

автору, будто бы у него не было иного желания кроме того, чтобы внушить людям отвращение к вымышленным и нелепым историям рыцарских романов, и так продолжалось в XVII и XVIII вв., видели в «Дон Кихоте» пародию на рыцарские романы и их героев, то английские и немецкие романтики — извечный конфликт между мечтой и действительностью. Открытие «Нового Дон Кихота» приписывается братьям Шлегелям. Если раньше испанский рыцарь был олицетворением бессмысленных мечтаний, а «донкихотством» называлось всякое пустое мечтание, бессмысленное действие, то с начала XIX в. вдруг увидели, что он печален и добр, не умеет жить «разумно», «справильно», что он борется за справедливость. Гегель писал о Дон Кихоте как о «романтической личности», сражающейся с «прозаической действительностью». Как известно, Белинский считал, что «каждый человек есть немножко Дон Кихот». Русские критики видели в Дон Кихоте благородного мечтателя. Для романтиков герой Сервантеса был не комической фигурой, как для рационалистов XVII—XVIII вв., а воплощением благородства, личностью, находящейся в конфликте с действительностью, фигурой скорее трагичной. А «донкихотством» назывались поиски правды и стремление переделать мир. Циприан Норвид так и писал в стихотворении «Наш эпос»: «Нам хватит только правды, тем, кто Дон Кихотом гонится за правдой». А резонер в «Новом Дон Кихоте» А. Фредро заявляет: «нужно быть сумасшедшим, чтобы стремиться к переделке мира, бороться с целым миром». Таким «сумасшедшим», мечтавшим «вправить вывихнутый век», был Гамлет, чей образ вызывал самые разные толкования. Гете подчеркивал его слабость, неспособность выполнить возложенный на него долг. В основу стереотипа «гамлетизма» легли взгляды немецких романтиков, которые видели в герое Шекспира пассивность, склонность к сомнениям, чрезмерный интеллектуализм. Более подробное освещение проблемы использования «вечных образов» выходит за рамки данной публикации и требует отдельного исследования. Быть может, здесь лишь стоило бы подчеркнуть, что «гамлетизм» так называемой второстепенной литературы нередко был лишен драматизма, морально-философской проблематики, понимания сущности конфликта героя Шекспира с миром.

Героев-безумцев много в польской романтической поэзии — это Густав Конрад, Кордиан («Дядьки» А. Мицкевича, «Кордиан» Ю. Словацкого), сумасбродные, ненормальные и «странные» герои так называемой второстепенной поэзии: «Импровизация сумасшедшего» Э. Василевского, «Мысли безумца» Р. Бервиньского и др. Нередко сумасшедшими называли патриотов, ведущих борьбу за свободу родины. Это нашло отражение в сочинении М. Ходзько «Десять картин из похода в Польшу 1833 г.».

Безумный герой становится знаком того, что он выходит за рамки общепринятых норм поведения и к нему не применимы критерии здравого смысла. Это герой, свободный от всевозможных условностей, чьи поступки и слова не нуждаются в мотивировке и аргументации, последовательности и логичности. Поэтому он нередко утрачивает черты романтической индивидуальности. Взамен появляются шаблонные описания блуждающего взора, странной или разодранной одежды, «дикого» или необычного поведения. Неординарность, странность, безумие главного или второстепенного персонажа использовались писателями-романтиками для критики окружающей действительности, современных норм поведения и обычаев. Критика содержалась не только в словах героя, но и в описании его состояния, так как сама «болезнь» свидетельствовала о ненормальном устройстве общества, в котором те, кто не может приспособиться, кто борется с несправедливостью, сходят с ума. Все романтические безумцы — люди, потерпевшие поражение¹.

Созданный романтиками стереотип безумца представлял писателям широкую возможность говорить правду о человеке и обществе в обход цензуры, создавать криптонимические тексты, понятные лишь посвященным. Специфическая ситуация Польши в тот период оказывала большое влия-

¹ Более подробно об этом см.: [11].

ние на формирование литературной жизни и функции литературы. (Особое внимание следует обращать на внеэстетические аспекты.) Литература в условиях цензуры вынуждена была находить новые способы передачи информации. Это вело к многозначности текста, что в свою очередь, формировало его интерпретатора — нового читателя, способного расшифровать скрытый смысл.

К числу образов-символов, постепенно превращающихся в стереотипы, можно отнести образ «фариса». Арабский восток, кочевая жизнь бедуинов, их обычаи привлекали польских поэтов эпохи романтизма. Привлекал жанр старо-арабской касыды (род оды, достигший своего расцвета еще в доисламскую эпоху)². Мицкевича, автора касыды «Фарис», отождествляли с образом его сочинения, называли «фарисом» польской земли. «Фарис» символизировал полет к великим целям, в то же время воплощал представление о патриоте и бунтовщике. В этом, как и во многих других произведениях Мицкевича, был скрыт некий магический шифр, доступный лишь определенному кругу людей, поколению романтиков, «молодых», и непонятный «классикам», «старикам». Для «классиков» язык «романтиков» казался непонятным. Противник Мицкевича Каэтан Козьмян в своих дневниках приводит слова Л. Осиньского о непонятности речи молодого поколения. То, что казалось ему пероглифами, для «молодых» было «знаками, по которым они понимали друг друга» [13].

Писатель и публицист А. Невяровский в статье о «варшавской богеме» писал о том, что «поэты той поры должны были создать новый, так сказать, символический язык, а скорее стиль, которым... только чутким читателям для допевания в душе могли передавать свои мысли и убеждения» [14]. Немалая роль в таком «стиле» принадлежит стереотипу.

Поэт второго поколения романтиков К. Балиньский, полемизируя с Мицкевичем, обратился к широко распространенным в то время стереотипам «фариса» и «поэта-пророка». В стихотворении Балиньского «Фарис-пророк» — два плана: первый из них представляет аллегорический образ судьбы поколения, потерпевшего поражение в борьбе, второй — поэтическую программу, определение новой роли поэта. Балиньский видел роль поэта не только в том, чтобы быть идейным вдохновителем (так Мицкевичем и многими другими понималась роль предводителя), но и очевидцем, свидетелем, участником и борьбы и судьбы поколения. Чтобы вести такую полемику, быть понятым современниками, поэт избрал узнаваемые представления.

Распространенным образом-символом, нередко переходящим в стереотип, было сближение судьбы человека (страны) с легким, оказавшимся во власти стихии, суденышком, лодкой, ладьей. Еще Данте называл свою страну «судном без кормила», вкладывая в этот образ обличительный смысл. У испанского романтика Х. Б. Эспронседы («Мир-дьявол»), как и у многих других романтиков, присутствует многозначный образ несомой волной ладьи: «когтями бурь искромсано ветрило/ладья идет ко дну» [15].

Романтический стереотип находящейся во власти стихий ладьи, челна, корабля, паруса широко представлен в русской и польской поэзии. Это и «кидаемый волной челнок», «волной расшибленный челнок», «парус серый и косматый, ознакомленный с грозой» М. Лермонтова («Челнок», «Желание»), «убогий челн, гонимый грозною волной», где «все снасти сорваны», но и корабль, напоминающий летящего вперед всадника, «фариса»: «вскачь летит корабль /.../, кусая удила, ныряет вверх и вниз» (Мицкевич А. «Пловец», «Плавание»). Пожалуй, наиболее распространенными и понятными современникам, поколению, пережившему поражение в борьбе за свободу, были стереотипы «ладьи с поломанным рулем», «сломанные мачты», «порванные паруса» (В. Потоцкий «К С. П.»), «ладья, что скользит, почти бескрыла» (А. Мицкевич «В альбом К. Р.»). Эти стереотипы несли в себе большую смысловую и эмоциональную нагрузку, в то же время способствовали кодированию текста.

² Подробнее об этом см.: [12].

К стереотипу разбитой ладьи примыкал, как бы естественно его продолжая, мотив изгнанничества, связанный с топосом пути, он восходит к античным образцам. Изгнанничество в романтической поэзии могло быть добровольным — и в этом случае его можно было трактовать как «освобождение» — и «невольным», как писал П. Вяземский в стихотворении «Тройка»: «Кто сей путник и отколе? И далек ли путь ему? По неволе иль по воле/Мчится он в ночную тьму?». А. А. Шишков, приятель и подражатель А. С. Пушкина, в «Отрывке из описательной поэмы: Лонской» представил героя, который как и герой «Кавказского пленника» Пушкина — изгнанник добровольный, променявший столицу на красоты Кавказа: «Уже изгнанник добровольный/Среди угрюмых, диких скал,/Примерно Лонский забывал/Забавы жизни своевольной».

В то же время изгнанничество было судьбой героев, личностей неординарных, избранных, исключительных, живущих в конфликте с миром «гонителей». Обаяние Байрона, Пушкина, Мицкевича, их огромная популярность у современников не в последнюю очередь связана с их изгнанием. Это понимал Пушкин, который писал в 1822 г.: «Гоненьем /Я стал известен меж людей» («В. Ф. Раевскому»). Позже об этом писал Лермонтов, (предположительно) имея в виду ссылку Пушкина: «Изгнаньем из страны родной/Хвались повсюду как свободой» («К...»).

Образ изгнанника не был лишь романтическим штампом, шаблоном, высмеянным Лермонтовым в поэте «Сашка»: «Наш век смешон и жалок — все пиши/Ему про казни, цепи, да изгнанья». В таких образах-символах как «странник», «изгнанник», «пилигрим», которые постепенно становятся устойчивыми стереотипами, нашли отражение реальные биографии.

Обращение к подобным стереотипам в поэзии так называемых второстепенных поэтов, к числу которых, в частности, относят польских поэтов «кавказской группы», не есть результат инерции их художественного мышления. Скорее это попытка зашифровать, закодировать текст, обойти цензуру, подчеркнуть свою духовную, идейную близость к великим, «избранным». Т. Лада-Заблоцкий в «Думе на берегу Каспийского моря» называет себя «странником в этом мире», в стихотворении «К вечерней звезде» — «пилигримом». «Пилигримом» был и другой поэт, сосланный на Кавказ, — В. Стшельницкий — «Не знаю счастья, бедный пилигрим» («К...»).

Стереотип принято связывать с второстепенной, эпигонской, подражательной литературой. Действительно, эпигонская литература, вероятно, скорее может дать ответ на вопрос, почему возникли те или иные схемы. Но как происходит выбор стереотипов, под влиянием ли первостепенного произведения (шедевра), или под влиянием собственных литературных позиций, представлений, пристрастий, вкусов, «повинна» ли в этом эстетическая система (в данном случае романтизм) или историческая ситуация — эти сложные вопросы не снимаются проблемой эпигонства. (Кстати, вопрос об эпигонской литературе и ее роли в литературном процессе представляется достаточно непростым, трактуемым подчас упрощенно.)³

Если обратиться еще к одному стереотипу «замороженной природы» или «замороженному холодом краю» (вариантов можно найти много, но в основе образа-символа — холод), символизирующему царскую власть, то он характерен равным образом как для первостепенной, так и второстепенной поэзии. В первой половине XIX в. эти образы (в их числе и образ «холодного гранита Невы») утвердились в польской романтической поэзии. Они основаны на соединении представлений о климате России и ее роли в подавлении революционных очагов. У Мицкевича уже в 1825 г. появляется формула «ледовитый край мира» («Восток и Север»), а в «Отрывке III части Дзядов» тема ледящего холода проходит через весь цикл. «Низвергающийся с гранита каскад», который «срезан морозом» и повис «над пропастью» — это символ тирании, силы, которая боится «солнца свободы» («Памятник Петру Великому»). После смерти декабристов М. Готславский пишет известное стихотворение «На смерть Пестеля, Муравьева и всех погибших за русскую свободу». Здесь — тот же образный ключ

³ Приятное исключение представляет работа [16].

(«замерзший берег Невы», края, «замороженные холодом», где «природа замерзла и сердца как лед»). В повстанческие дни 1830—1831 гг. Б. Словацкий в «Гимне» («Богородица! Дева!...») также говорит о «холодном граните Невы». Г. Эренберг в 1840 г. в «Прощании» выражает надежду на то, что снега удастся растопить: «Растопим снега — разобьем льды». Здесь стереотип снегов и льдов предполагает одозначное толкование. В соответствии с уже устоявшимся стереотипным представлением Ц. Норвид в стихотворениях «Врагу» и «Две Сибири» использует образы льда, «ледяного порога», «глыбы льда»: «Взываю, отступи, о глыба ледяная! Доколе под тобой я буду умирать?..»

В эпоху романтизма в польском литературном сознании произошла смена так называемого национального стереотипа. Как писал анонимный автор «Тыгодника петербургского» в 1836 г.: «Наши отцы /.../ прототипом нашей нации считали Подстолия Красицкого» (цит. по: [17]). Образец шляхтича-хозяина, сдержанный характер которого соответствовал представлению о солидности и уверенности в незыблемости устоев, с его любовью к сельской жизни, деревянному дому, привязанностью к жене и детям, был популярной фигурой до 30—40-х годов XIX в. В «Пане Тадеуше» Мицкевича (З. Красинский назвал эту поэму «Паном Подстолием, написанным стихами») представлены разного рода приметы-символы шляхетской культуры: кунтуш и сабля, конь и охотничья собака, народный танец и польская кухня, споры о границах владений и шляхетские съезды, тосты и дискуссии о происхождении и т. д. В поэме «Пан Тадеуш» существуют два национальных типа образцового хозяина и гражданина, с одной стороны, и активного патриота, с другой. Общественные и национально-патриотические идеалы выражаются в новом национальном типе. Как пишет автор статьи «Романтическая история стереотипа сармата» Я. Каменкова [17. s. 218], происходит смена стереотипов, прошедших эволюцию от образованного хозяина до эмигранта, от барского конфедерата до конспиратора и революционера. Эта эволюция свидетельствует об изменении сознания, об изменении концепции человека, что, в свою очередь, отражает изменение общественно-исторической роли шляхты. В то же время смена, а не исчезновение стереотипов свидетельствует об устойчивости этой категории.

Если на ранней стадии романтизма патриотический протест выражался метафорически, в образах фарисеев, арабов, ламбров, «безумцев», то теперь происходит национальная и социальная конкретизация героя (начиная с поэмы А. Мальчевского «Мария» и «Каневского замка» С. Гоциньского), появляются некие обязательные черты героя-патриота. Их несколько позже перечислил в парижских лекциях о славянских литературах А. Мицкевич. Он говорил о том, что задача, призвание романтической эпохи — создание нового образца идеального человека-героя. (Как известно, эта проблема существовала в творчестве великого поэта и раньше, отражение ее можно видеть, например, в образе Яцека Соплицы, выросшем из шляхетско-сарматской традиции.)

Идеального героя современности, по определению Мицкевича, отличает страстность апостолов, самоотверженность мучеников, простота монахов, смелость революционеров 93 года, стойкость и мужество солдат великой армии и гениальность ее вождей.

Ставшие стереотипными признаки, особенности, черты героя-борца, перечисленные Мицкевичем, по сути дела в основе своей имели не столько литературную традицию, сколько опыт реальной жизни. Переплетение фактов жизни и фактов литературы — характерная черта польской (и не только польской) романтической поэзии. Не случайно поэт и конспиратор К. Балиньский писал о том, что в польских подпольных патриотических организациях каждый был поэтом, если не словом, то делом. Поэт Г. Эренберг руководил разветвленной конспиративной организацией, а участники борьбы за национальное освобождение становились прототипами или героями поэтических произведений. Поэтому и литературный стереотип национального героя опирается и на литературный опыт, и на жизненный материал.

Обратимся еще к одному примеру. В поэмах Мицкевича «Гражина» и «Конрад Валленрод» крестоносцы — интересный исторический феномен, представление о котором формировалось на материале хроник и историографии. Автор «Гражины» в примечании к поэме объяснял: «Таковыми были крестоносцы, Орден, состоящий только из немцев». Можно было трактовать крестоносцев как силу, чуждую польской истории, а источник жестокости членов Ордена по отношению к литвинам объяснять извечным славяно-германским антагонизмом. Современная поэту польская критика увидела в сочинении Мицкевича метафору. Орден крестоносцев становится в ее толковании криптонимом царской России, а герои, борющиеся с Орденом, — врагами царизма. А во второй половине XIX в., в связи с антипольской деятельностью прусского государства, экспансионистская Германия отождествляется с Орденом крестоносцев. Как справедливо замечал советский историк И. С. Миллер [18], рыцарский орден был отрицанием всего того, что традиционно связывалось с рыцарством (в стереотипном понятии рыцарства, заметим, кстати. — Д. П.). Для литовцев и поляков крестоносец стал символом жестокости, бесчестья и глумления над самим знаком креста, коим были украшены одежды служителей девы Марии. После появления романа Г. Сенкевича «Крестоносцы» можно было прочитать такое мнение: «Крестоносец в традиции и в поэзии стал типом жестокого угнетателя и насильника» (цит. по: [19]). Появление нового стереотипа либо его иное «наполнение», трактовка стали возможны в особых исторических условиях. Этому способствовали и ситуация прочтения текста, когда в антипрусской пропаганде особенно актуальным стал образ крестоносца. Новая ситуация порождает новый стереотип.

В краткой статье невозможно с достаточной полнотой рассмотреть столь непростую проблему, такая работа изначально обречена на схематизм и упрощения. Но возможность исчерпать поставленную проблему зависит, естественно, не только от объема исследования, хотя это и немаловажно, а от сложности, многоаспектности и недостаточной ее разработанности в советском литературоведении. Поэтому автор видел свою задачу лишь в постановке вопроса, как это и обозначено в названии статьи. А проблемы, например, традиции и эпигонства (и его роль в эволюции литературы) невозможны без рассмотрения «окаменевших символов», «постоянных представлений» — стереотипов, емкость которых и предполагает постановку названных вопросов (конечно, некоторых из них).

ЛИТЕРАТУРА

1. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970, с. 350—351.
2. Okopień-Sławińska A. Rola konwencji w procesie historyczno-literackim. — In: Proces historyczny w literaturze i sztuce. Warszawa, 1965.
3. Mitosek Z. Literatura i stereotypy. Wrocław, 1974.
4. Abramowska J. Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich. — Pamiętnik Literacki, 1982, z. 1—2.
5. Lippmann W. Public opinion. New York, 1956.
6. Archiwum Historii Filozofii i Myśli społecznej, 1959, № 5.
7. Мурадян С. А. Гносеологический анализ проблемы стереотипа. — Автореф. на соиск. уч. степ. канд. филос. наук. Ереван, 1977.
8. Анохин П. К. Опережающее отражение действительности. — Вопросы философии, 1962, № 7.
9. Problemy socjologii literatury. Wrocław, 1971, s. 129.
10. Пермяков Г. Л. От поговорки до сказки. Заметки по общей теории клише. М., 1970, с. 19.
11. Kowalczykowska A. Wymowny szaleniec. — In: Studia romantyczne. Wrocław, 1973, s. 263—287.
12. Segel H. B. Mickiewicz and the arabic qasidah in Poland. American contributions to the Fifth international congress of slavists. Mouton, 1963.
13. Koźmian K. Pamiętniki. T. IV. Wrocław, 1972, s. 264—265.
14. Kurier Warszawski, 1881, № 29. — In: Szymanowski, Wspomnienia o cyganerii Warszawskiej. Warszawa, 1964, s. 263.
15. Эпиронседа Х. Б. Избранное. М., 1958, с. 240.
16. Zielińska M. Mickiewicz i naśladowcy. Studium o zjawisku epigonizmu w systemie literatury romantycznej. Warszawa, 1984.
17. Kamionkova J. Romantyczne dzieje stereotypu sarmaty. — In: Studia romantyczne. Wrocław, 1973, s. 218.
18. Миллер И. С. Предисловие. — В кн.: Сенкевич Г. Крестоносцы. М., 1960.
19. О «Krzyżakach» Sienkiewicza. Wyb. T. Jodełka. Warszawa, 1958, s. 132—133.



Мурьянов М. Ф.

У ИСТОКОВ ЛЕКСИКИ САДОВОДСТВА В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

Садоводство является тем видом хозяйственной деятельности человека, который всего более привязывает его к земле, делает вполне оседлым. Обитатели раннесредневековой Европы, хотя их уже нельзя назвать кочевниками, все же время от времени могли менять места жительства в таких масштабах, что одна из миграций получила выразительное название Великого переселения народов (IV—VI вв.); их скотоводческое хозяйство, посевы зерновых и овощные огороды не страдали от перемещения на новые территории, а жилье, глинобитное или выстроенное из дерева, повсеместно имевшегося в изобилии, так же быстро возводилось, как и гнило.

Культурный сад фруктовых деревьев — это такое творение рук человека, которое из-за медленности развития имеет смысл создавать только в расчете на то, что заниматься им будет как минимум несколько сменяющихся поколений семьи, связанных общими интересами. Римское право делало различие в характере землевладения: пашенная земля могла быть общей собственностью ее насельников, но садовые наделы (*heredium*) были собственностью частной, переходившей по наследству [1].

Восточнославянский культурный сад — это явление, возникновение которого датируется учеными агрономами X в. [2], т. е. тем же временем, когда Киевская Русь стала возводить рассчитанные на стабильность мест обитания строителей каменные здания. Едва ли не первым из них была Десятинная церковь киевского князя Владимира Святославича [3], построенная под руководством византийских архитекторов. Русь стала приобщаться к средиземноморской цивилизации. Из Средиземноморья происходит не только письменность всей Европы, но и, по академику Н. И. Вавилову, ее культурная флора [4]. Здесь находился единственный в мире сад, на протяжении почти тысячелетия (388 г. до н. э. — 529 г. н. э.) не сменивший своего владельца — сад платоновской философской школы, Академия близ Афин [5].

Западнославянский культурный сад имеет другую родословную, он ведет ее от садоводства римского, отчасти через германское посредство [6—9]. В Западной Европе основополагающее значение в разведении садов имела монастырская традиция; уже в VI в. Кассиодор писал, что монахи-ученые должны заниматься богословием, а монахи, к наукам склонности не имеющие, — монастырским садом [10]. В самом известном нормативном акте государства Карла Великого — «Капитулярии об имениях» (800) предписания о садоводстве называют 70 сортов яблонь, груши, сливы, вишни, персики, ореховые деревья [11; 12].

Чем культурное растение отличается от своего дикорастущего сородича? Для наших целей вполне достаточно разъяснение, данное ботаником В. Л. Комаровым, президентом АН СССР:

«Дикорастущие растения мало удовлетворяют человека: зерна дикорастущих злаков очень мелки, плоды на лесных деревьях мелки и кислы. Как правило, можно сказать, что у культурных растений те их органы, ко-

торы служат человеку, гипертрофированы, т. е. развиты чрезмерно. Зерновка пшеницы имеет излишне крупный запасный магазин с крахмалом, корни свекловицы или репы также разрастаются в размерах, совершенно не вызываемых потребностями самого растения, и, наконец, рекорд побивают лишенные семян плоды бабана, многих сортов мандарина или груш. Плод — обычно хранилище семян, а плод, лишенный семян, совершенно бесполезен для несущего его растения. Однако он нужен человеку, и он существует. Растения с такими излишними или ненормально развитыми органами в природе неусуществимы, так как естественный отбор их уничтожает без остатка. Искусственный отбор выдвигает, наоборот, признаки, желательные для человека, и создает растения, отсутствующие в природе» [13].

Человек начинает с употребления плодов лесного дерева (в 920-х годах араб ибн-Фадлан свидетельствует о волжских булгарах: «Я видел у них яблоки, отличающиеся большой зеленью и еще большей кислотой, подобной винному уксусу, которые едят девушки» [14]), а затем переходит к посадкам деревьев по собственному усмотрению. При введении дикорастущего плодового дерева в культуру работа садовника заключается в отборе экземпляров с наиболее целесообразными признаками, в создании для них особо благоприятных условий роста, в прививке, обеспечивающей размножение экземпляров с выработанными качествами. Растение, выросшее из семени культурного плода, вновь оказывается диким, поэтому единственно возможный путь размножения — прививка между культурным и диким сородичами, они должны иметься в как можно более полном ассортименте. Обеднение дикорастущей части этого ассортимента, происходящее в наше время, признается биологической наукой катастрофическим бедствием с далеко идущими, необратимыми последствиями для флоры будущего [15].

Нет нужды доказывать, что работа садовника ни к чему не приведет, если она не основана на осмысленном плане и том или ином представлении о сущности производимых действий, имеющих свои названия. «Земледельцы, не понимая еще биологической сущности явлений и применяемых ими методов работы, по-видимому, сумели стихийно проникнуть в некоторые весьма глубокие тайны жизненных процессов» [16, с. 6]. Признано также, что выведенные ими сорта, обозначаемые сейчас как староместные сорта пародной селекции, «представляют исключительный интерес как генетический источник устойчивости к болезням и вредителям» [15, с. 4]. У биологов считается, что «об этом периоде развития селекции можно судить только по ее результатам или строить разного рода догадки на основании косвенных материалов» [16, с. 6].

В самом деле, фундаментальные работы по аграрной истории Киевской Руси не содержат никаких данных о садоводстве, даже не упоминают его. Древний Киев археологически изучен довольно обстоятельно, но реконструктивное мышление археологов не отвело на карте города ни одного участка под сады, княжеские или монастырские. В северном, а потому менее благоприятном для садоводства Новгороде почвенные условия оказались наиболее благоприятными для сохранности органики в археологическом культурном слое, но и здесь представления о топографии древнейших садов оказываются самыми приблизительными: «по-видимому, сады в Новгороде занимали более возвышенные места, холмы, которые застраивались обычно в последнюю очередь... Сейчас эти холмы уже сшивелировались нарощим культурным слоем и обнаруживаются лишь при шурфовке» [17]. Ясно однако, что в условиях деревянного города, где каждая усадьба выгорала пять — шесть раз в столетие при локальных или общегородских пожарах, выращивать плодовые деревья в непосредственной близости от жилища было невозможно. Население Киевской Руси жило не столько в крупных городах, сколько в селах, однако и в последних археология не обнаружила ничего проливающего свет на положение садоводства.

В контексте столь скудных данных впечатляет сообщение о первом конкретном селекционном достижении: «Северным форпостом возделывания

яблони в СССР исторически служили Валаамские острова на Ладожском озере. Еще в X в. здесь весьма успешно выращивали яблони, доживавшие до 100-летнего возраста (например, сорт Коричное) [18]. Источник этих сведений ученым-ботаником, к сожалению, не назван, но историкам известно, что земледелием на Валаамских островах искони занимался местный православный монастырь, мирских поселений здесь не было. Мнения о времени основания монастыря колеблются в диапазоне от X до XIV в., неоднократные разорения шведами привели к тому, что его начальная история ничем не документирована [19]. Потенциальными возможностями для ее разработки располагает разве лишь шведская медиевистика, в Стокгольмском королевском архиве есть какие-то трофейные валаамские материалы [20]. Возможно однако, что монахи средневекового Валаама и не стремились к литературным занятиям, к летописанию и тому подобному, а их сила была, как и в новое время, в необычайном земледельческом прилежании. Со временем яблоневый сад зацвел в Соловецком монастыре на Белом море, почти у Полярного круга [21], что было и остается мировым рекордом.

Единичные выдающиеся достижения нельзя принимать за общую картину, в целом она не говорит о том, что сад был существенным компонентом экономики древнерусского государства, что садоводство в заметной степени профилировало уклад народной жизни, поэтику фольклора. Член-корреспондент АН СССР Н. И. Толстой высказал автору этих строк мысль, что у древних славян интерес к садоводству возник не сразу, поскольку все жизненные потребности с избытком покрывались дарами нетронутой природы — разного рода ягодами, которых не было в южных странах. Этот пронипательный экспромт получил подтверждение на таком материале, где его еще никто не искал. Изложим наши наблюдения.

Предположительно в эпоху Юстиниана I (527—565) византийская гимнография обогатилась обширным произведением, анонимным «Акафистом Богородице», которым «начался многовековой путь рифмы» [22]. Его торжественно исполнили 7 августа 626 г. в Константинополе в ознаменование спасения столицы от осады аварами, славянами и персами, после чего он занял почетное место в литургическом календаре. Характернейшая структурная особенность этого гимнодического произведения — нанизывание хайретизмов, т. е. образных наименований Богородицы в звательном падеже, предваряемых обращением χαῖρε ('радуйся'), взятым из приветствия архангела Гавриила Деве Марии в момент благовещения (Лк 1, 28). В веренице этих хайретизмов византийский шпиг дал следующие:

χαῖρε, φουουργὸν τῆς ζωῆς ἡμῶν φύουσα·
χαῖρε, ἄρουρα βλασάνουσα εὐφορίαν οἰκτιρῶν [23].

(‘радуйся, садовника жизни нашей возвращающая; радуйся, нива, рождающая обилие щедрот’).

Когда славяне приняли христианство, перевод Акафиста оказался одной из первоочередных миссионерских задач. Имеется критическое издание древнеславянского перевода по восточнославянским рукописям начиная с конца XI в., где интересующее нас место читается так:

радоуи ѿ, насадителя живота нашего каздратуици;
радоуи ѿ, нико прозавбуици гобязкание щедротъ [24].

Существует однако и другой вариант славянского перевода, издателям критического текста оставшийся неизвестным и засвидетельствованный двумя московскими рукописями, тоже восточнославянскими — самой старшей из сохранившихся постных Триодей (XII в., ГИМ, Син 319) и самой старшей из сохранившихся мартовских служебных Миней (XIII в., ЦГАДА, фонд 381, № 106). Здесь второй стих читается иначе:

радоуи ѿ нико прозавбуици гагоды зобаниа щедротъ (Триодь, л. 265об)
радоуи ѿ нико прозавбуици кагоды зобаниа щедротъ (Минея, л. 86).

Это — плод северного художественного мышления, столь же характерный, как и записанная в 1834 г. Э. Леннротом финская руна «Поиски младенца», причудливо контаминирующая евангельское повествование о зачатии Христа с местной сказочной традицией зачатия от брусничной ягоды [25]. Где славяне — там ягоды, и наоборот: где ягоды — там славяне. «Ибн-ал-Факих сообщает, что в столице халифов Самарре в IX в. были известны ягоды под названием славянские красные» [14, с. 208].

Византийский гимнограф Иоанн мних написал канон Симеону Столпнику, где один из тропарей гласит:

Χάριτος ἐπληρώθης
 πνευματικῆς
 ποιμαντικῶν γὰρ ἐκ σηκῶν
 ὡς Ἰακώβ, Δαυὶδ καὶ Μωσῆς,
 ἀρχηγέτης λογικῶν
 ὄφθης θρεμμάτων, μακάριε.

(Благодати исполнен духовной, ибо от пастушеских стойбищ, подобно Иакову, Давиду и Моисею, предводителем словесных явился питомцев, блаженный).

Пренебрегая разницей между ὁ σηκός 'стойбище' и τὸ οὔκον 'фига', славянский переводчик пишет то, что ему кажется самым выразительным в ландшафте, окружающем пастуха:

Бл(а)г(о)д(а)ти исполни с(а) д(у)х(о)в(а)ныи
 пастушески иво ѡт(з) ягодица
 яко Иаковъ Д(а)в(а)идъ И Моисѣъ
 начальнии кожа
 словеснымъ яки с(а)
 впитаниемъ бл(а)ж(е)не.

Так — в старшем тексте канона, по Минее XIV в. Ярославского областного архива № 705(1), л. 4 об.

Относительно ягодица заметим, что у И. И. Срезневского этого слова нет [26]. Академический словарь 1847 г. дает для него три значения: «1) церк. Лоза или плод виноградный... 2) Задняя часть туловища, которою человек садится, 3) Женский сосец» [27]. В. И. Даль первое из этих значений ставит под вопрос, но добавляет еще одно, диалектное 'щека, скула' [28], что, конечно, правильно — ср. у Кирши Данилова: «Ее белое лицо как бы белой снег, и ягодицы как бы маков цвет» [29]. По О. Н. Трубачеву, «первоначальный семантический признак, таким образом — округлость, выпуклость» (непосредственно развившийся из значения 'ягода, округлый, мясистый плод') [30]. Добавим, что анатомические значения слова, относящиеся к интимным частям тела, поначалу были эротическим тропом, причем в чисто славянском вкусе — ведь аналогичной номинатии не наблюдается в других языках, даже когда слово имеет подчеркнуто высокую эстетическую функцию, как у Керкида Мегалопольского, рассказывающего о прекраснотвах (καλλιπυγοί) сиракузянках, ознаменовавших свои победы над мужскими еердцами сооружением святилища и статуи Афродиты Прекраснотвахой (Ἀφροδίτη καλλιπυγος) [31]. Здесь в композитном эпитете богини имеется πυγή — слово, отсутствующее в поэзии и подозреваемое в вульгарности, что, впрочем, не доказано, поскольку его этимология неясна [32].

Отступления от буквальности редки в древнеславянской переводческой практике, но их легко найти как раз в контекстах, где выступает флористическая образность, основанная на сравнениях с неведомой переводчику чужеземной растительностью. Выразителен пример с ветхозаветной Песнью песней. Текст Септуагинты (стих 4, 13) выглядит так:

Ἀποστολαί σου παράδεισος ῥοῶν μετὰ καρποῦ ἀφροδύων, κύπροι μετὰ νάρδων.

В ряде случаев славянские переводчики сверялись и с Вульгатой:

Emissiones tuae paradisi malorum puniceorum
cum pomorum fructibus, cyprum cum nardo.

Исходный смысл стиха — твои водные потоки (в др.-евр. оригинале — šelaḥájik) — это гранатовая роща (др.-евр. pardés gimmoním) с лучшими плодами, цветы кипра (др.-евр. kefarím) с нардами (др.-евр. nardím, в так называемом обобщающем множественном числе, что должно усилить представление о полноте). Вместо ожидаемого потоки орошают рощу потоки и есть роща. Поэт хаотично нагромождает образы прекрасного сада, это — особенность его взволнованного стиля [33].

Древнеславянский переводчик не стал стремиться к недостижимому и приноровился к чувству природы, свойственному ему и его соотечественникам; он сократил текст стиха и назвал только знакомое ему дерево, в оригинале как раз отсутствующее:

поганиа чѣога рѣи съ пасома • вѣтки доуба.

Так — в рукописи XIII в. (ГБЛ, ОИДР 171, л. 83). Для достижения собственно духовных целей, если смотреть на этот текст единственно с точки зрения феноменологии религии, перевод не так уж плох: сказано то, что славянину так же любо, как и ближневосточные благоухания — южному человеку. Но для целей агрономических такой перевод, естественно, никуда не годится. Именно поэтому древние славяне, кажется, и не брались за перевод «Геопоник» — сельскохозяйственной энциклопедии, созданной в середине X в. и ориентированной на византийскую флору [34].

Ни одного текстового памятника садоводческой мысли древних славян мы не имеем. Вероятно, таких памятников и не было, знания накапливались и передавались в живом трудовом процессе — без книг, но во всяком случае посредством слов, даже терминов. Перспективная задача славянской исторической лексикологии, имеющая реальные шансы на решение, — это выявление и семантический анализ исконных терминов садоводства, определение того, какие из ныне употребительных терминов принадлежат к этой древнейшей группе. Ее состав и семантика дадут обоснованное, адекватное исторической действительности представление об эволюции садоводства. Эти данные, также как и этимология названий фруктов (как, например, разработанные О. Н. Трубачевым этимологии для слов *abl'ko [35] и *gruša [36]) — нечто большее, чем «разного рода догадки на основании косвенных материалов» [16], как доньше определяются скептиками возможности исторического познания в растениеводстве. Покажем это на примере слов, обозначающих понятие прививки, понятие основополагающее, возникшее в средиземноморской культуре, известное египтянам, финикийцам (и, независимо от этого, — в древнем Китае) [37].

О том, какие возможности заключает в себе прививка плодовых деревьев, древнеславянским книжникам могли поведать сочинения отцов церкви. В частности, принадлежащее перу Григория епископа Нисского (IV в.) знаменитое XX письмо, описывающее Ваноты, имение адвоката Адельфия:

«Около домов находятся феакийские сады¹; но нет, — красоты Ванот да не унижутся сравнением их с этими садами. Гомер не знает здешней яблони, „золотыми плодами обильной“, яркостью своих красок не уступающими краскам своего цветка. Не видел он груши, которая белее только что отполированной слоновой кости. А кто опишет разноликость и разнообразие персидской яблони и того, что произошло с нею от смешения и соединения ее с другими породами! Ибо что люди, в вымыслах своих переступающие за пределы естественного, повествуют о козлооленях, кентаврах и им подобных существах, смешанных из различных животных, то же надобно сказать и об этой яблоне: природа под тиранией человеческого умения (τορανηθεΐσα παρὰ τῆς τέλης ἢ φύσεως) произвела такое смешение, что и по имени, и по вкусу плодов яблоня кажется то миндальным деревом, то орешиною, то персиком. И во всех этих садах сверх красоты

¹ Имеется в виду античный идеал сада («Одиссея» VII, 112—126).

были и обилие каждого рода деревьев, распорядок в их насаждении и стройная живописность. Ибо поистине, это дивное зрелище — больше произведение живописца, чем земледельца» [38].

Обратим внимание: не желая обидеть гостеприимного владельца поместья, Григорий исподволь все же не одобряет насилия над природой, развившегося в прививке между разнородными деревьями, это видно по выбору слов (*τραυνηθεῖσα παρὰ τῆς τέχνης ἢ φύσεως*), что отмечено Э. Хонигманом [39]², и по нелестному сравнению с козлооленьями и кентаврами. Из этого однако не следует, будто философ возражал против прививки как таковой, являющейся незаменимым средством облагораживания диких деревьев, прививки, послужившей средством для глубоких философских обобщений у неоплатоника Плотина («Эннеады» II 9.7) [41]. Брат Григория Нисского Василий, епископ Кесарийский, упомянул еще один способ взаимодействия между диким и культурным сородичами плодового дерева, практиковавшийся его современниками: «Некоторые сажают дикие смоковницы вперемежку с культурными... Напрягай свое старание уподобиться плодоносной смоковнице, которая в соседстве с дикими собирает свои силы, не дает опадать своим плодам и питает их с большей тщательностью» [42, с. 313].

Когда народы, входившие в соприкосновение со средиземноморской культурой, учились у нее технике садоводства, они осваивали прививку и обогащали свой язык словом, обозначающим это действие. К примеру, если известно, что остготский король Теодорих в 493 г. прививал плодовые деревья [43], то мы знаем и готский глагол, обозначающий действие прививки — *intrusgjan* [44]. А как это же понятие выразилось на языке древних славян? Как ответить на этот вопрос, если слова *прививка*, *привив(ва)ть*, *привой*, *поввой* древними не являются? Где искать синонимические разветвления этого слова и как определять старшие ветви? Поскольку русско-древнерусских словарей не существует (а тем более русско-древнеславянских), эта эвристическая задача решается непрямыми действиями, отысканием — по тематическому признаку — нужных контекстов.

Надо полагать, XX письмо Григория Нисского было мало кому известно в древнеславянском мире, здесь не зачитывались и «Эннеады». Но наряду с этими текстами, предназначенными для узкого круга самых образованных, существовала общенародная школа слушаний богослужебных гимнов, имевшихся на каждый день календарного года. Основная тема этих гимнов — прославление святых, скончавшихся в данный календарный день (безразлично, в каком году). Для нашего разыскания представляет интерес святой, считавшийся небесным патроном садовников и садоводства — мученик Конон, казненный во времена императора Деция [45]. В иконописных подлинниках дан его иконографический тип, Конон отличается от прочих святых тем, что в руке он держит деревцо [46]. Есть однако не отмеченное в справочниках [45; 46] изображение Конона гораздо более древнее, чем иконописные подлинники — фреска в Спасо-Нередицкой церкви под Новгородом (1199), имеющая особенность — ободок красного цвета в нимбе [47]; М. И. Артамонов задавался вопросом, не имеет ли этот ободок иконографического смысла [48]. Вопрос остался без ответа, но теперь, когда доказаны тенденции нередицких фрескистов давать беспрецедентные по символизму композиционные решения [49; 50], мы вправе ответить утвердительно, красный ободок мог мыслиться как предельно компактный символ красоты садов, предмета земных попечений Конона. Зритель с достаточно развитым символическим инстинктом мог легко угадать в красном компоненте фрески, находящемся в столь значимом месте как нимб, то есть в самом средоточии духовности, рефлекс того, чем красен сад — краснощеких яблок, спелых вишен, смородины, малины, а может быть и дикой природы — россыпью брусники, земляничных полян, клюквенного болотца. С чего-то

² Как положительно интерпретирует эти слова только академическая «История Византии», подразумевая, что здесь сказано о «природе, измененной искусством» садоводов [40].

должно же было начинаться развитие хроматического значения прилагательного *красный* (первичное значение — 'красивый'), лексикографией зафиксированное лишь для гораздо более позднего времени [51].

В славянской рукописной традиции первое упоминание Конона находится в календаре Мстиславова Евангелия рубежа XI/XII вв. на 5 марта: *Втрѣс(тѣ) с(ва)т(а)лго Конона · оградника* [52]. К этому же времени относится и старший комплект славянских служебных Миней, но мартовская Минея в нем не уцелела, приходится довольствоваться показаниями цитировавшейся выше рукописи XIII в. (ЦГАДА № 106.)

Канон службы Конону, в греческой Минее анонимный [53], а по последним данным принадлежащий Иоанну Дамаскину [54], в первой песни содержит следующую строфу, которую мы даем в греческом оригинале и по древнерусской рукописи (л. 16об):

Ἀφθαρσίας στολήν	Нетлѣннѡю одежен
περιβαλλόμενος ὕβν	облѣченъ ѡбна
ἐνεκεντρισεθης, Κόνων ἐνδοξε,	пресаженъ Кононе сладке
ἀγριελαίου ἐκ ρίζης	дикнѣа маслина ис корени
εἰς καλλιέλαιον,	на дѣваю маслино
Χριστῷ τε τοὺς φάσαντας	Х(ри)с(то)ки рожавшихъ
ἐχαρποφόρησας.	плодъ принеслаз яси.

Налицо сравнение человека с самым царственным деревом средиземноморского сада — оливой, примененное уже Гомером:

Словно как маслина древо, которое муж возлелеял
В уединении, где испиает ручей многоводный,
Пышно кругом разрастается; зыблют ее, прохладяя,
Все тихейшие ветры, покрытую цветом серебристым;
Но незанная буря, нашедшая с вихрем могучим,
С корнем из ямины рвет и по черной земле простирает,—
Сына такого Панфоева, гордого сердцем Эвфорба,
Царь Менелай низложил и его обнажал от оружий.
(«Илиада» XVII, 53—60).

Однако положение обоих сравниваемых с оливой персонажей социально несопоставимо: мощный Эвфорб — сын Аполлонова жреца Панфоя, одного из троянских старейшин, Конон — никого не имевший в подчинении скромный человек физического труда, не знавший грамоты. Дамаскин дал в своем тропе нечто новое — понятие о прививке, причем святой оказывается привоем, маслиной дикой, привитой к подвою, маслине благородной, означавшей неизвестно кого или что. Смысл строфы Дамаскина останется непонятным, пока мы не обратимся к источнику вдохновения поэта — Посланию апостола Павла к Римлянам (XI, 16—24), где культурная олива обозначает церковь как сообщество христиан, а под прививаемыми к ней дикими ветвями подразумеваются вчерашние язычники, принявшие христианство [55]. Прочитаем Павла по изданию старшей славянской рукописи Послания к Римлянам — Христинопольскому Апостолу середины XII в. [56]:

(16) Яще во начатъкъ с(ва)тѣ, и присъпа; и аще коренъ с(ва)тѣ, то и вѣтви. (17) Яще ли же нѣци ѡтломиша сѧ ѡт вѣтви, ты же, сверѣпомаслина сѧ, присѧди сѧ въ нихъ и причастаникъ корению и масти маслины быста. (18) Не хвали сѧ на вѣтви; аще ли сѧ хвалиши, не ты коренъ носиши, на коренъ тебе. (19) Речеш ли оубо: ѡтломиша сѧ вѣтви, да азъ присѣплю сѧ. (20) Добро; не вѣрстванима ѡтломиша сѧ, ты же вѣроу стоиши. Не высокомоудрствуй, на воі сѧ. (21) Яще в(о)гъ родителныхъ вѣтви не пощадѣ, еда како ни тебе не пощадитѧ. (22) Вижь оубо вл(а)гостѧ и ѡтѣчѣние в(о)жине; на падшихъ оубо ѡтѣчѣние, а на чобѣ вл(а)гостѧ в(о)жине, аще прѣбудеши въ вл(а)гостѧ; аще ли, а и ты ѡтѣчѣнъ будеши. (23) И они аще не прѣбудоутъ въ нектрствѧ, присѣпѧтъ сѧ. Вильна во уста в(о)гъ пакы присѣпитѧ. (24) Яще во ты ѡт родителныхъ ѡтѣче сѧ сверѣпомаслины и неродително присѣпи сѧ въ доброу маслиноу, колми паче си родителнии присѣпѧтъ сѧ конон маслинѣ.

Дальнейшую эволюцию лексики этого отрывка можно проследить по критическому изданию, хронологически доводящему текст до стадии новгородской Геннадиевской Библии 1499 г. [57]; последующие этапы выйдут за пределы нашей задачи. Возможны и частичные прозрения в обратную сторону, удрежняющие то, что имеется в Христинопольском Апостоле: цитаты из Послания к Римлянам есть в неопубликованных Пандектах Антиоха Черноризца (рукопись XI в., ГИМ, Воскр 30), их сообщил И. И. Срезневский в «Материалах для словаря древнерусского языка»:

Рим XI, 17 (л. 124 «Пандект»): Ты же, *скертъ помаслинѣз са, присѣпѣи са и причастаникѣз корени и сласти быс(тѣ) маслины* (т. III, с. 271), Рим XI, 19 (л. 101 «Пандект»): *Отъаомища са вѣтки, да азъ присѣпѣлю са* (т. II, с. 1468).

Заодно отметим, что процитированный текст Христинопольского Апостола дает существенную поправку к И. И. Срезневскому: если в «Материалах» (т. II, с. 1453) *присадиги* толкуется как 'насадить', с единственной цитатой из оригинального «Слова на собор святых отец 318» Кирилла Туровского (XII в.), то теперь, имея основание понимать *присадиги* как 'привить', можно видеть истинный смысл фразы древнерусского писателя, оперировавшего непривычными для Туровской земли образами виноградарского труда: «О блажении святители, богонасаженнаго винограда добрии дѣлатели, от него же всельственное искоренисте тьрние, богоразумие въ вся челоуѣкы присадисте» [58].

Ботаническая интерпретация нашего текста из Послания к Римлянам — вопрос далеко не простой. Такой эрудированный и осторожный исследователь как бенедиктинская монахиня Фотина Рех пишет о «своеобразном преобразовании, имеющем силу символа»; «пустя процедура прививки, от которой исходит Павел, на практике разыгрывается иначе, — ведь прививают культурный привой к дикому подвою, а не наоборот — символическая мощь высказывания, пожалуй, даже возрастает благодаря этой необычности. Апостолу в его сравнении нет дела до явления природы, он имеет в виду чудесный божественный акт, который противоречит природе, взрывает ее границы и возможности. Речь идет не о совместном действии человека и природы, а о суверенном действии милости Божией, которое превосходит все земные аналогии» (сделана ссылка на неопубликованные материалы конференции по Посланию к Римлянам, автор которых — ученый бенедиктинец Одило Казель) [59].

Эта красивая концепция вызывает возражения. Классическая филология располагает бесспорными доказательствами того, что древние практиковали в числе прочих эмпирических приемов и прививку дичка к культурному подвою, вкладывая в это действие определенный смысл — они думали, что так происходит омоложение дряхлеющего культурного дерева [60]. Добавим наше предположение, что такому осмыслению этого действия могли способствовать эмпирические наблюдения над человеческой генетикой и по-разному оценивавшиеся попытки скомпенсировать развивающуюся дурную наследственность аристократических фамилий «свежей кровью» здоровых молодых крестьянок. Древние над проблемами наследственности задумывались, это известно.

Для обозначения действия прививки греки, как видим, употребляли глагол *ἐχχευρίζειν*, буквально 'укалывать', глагол образован от имени *τὸ χέντρον* 'жало', 'острие'. Словарь И. Х. Дворецкого толкует глагол *ἐχχευρίζειν* так: «*досл.* подстрекать, побуждать, *перен.* прививать» [61]. Между тем, ничего переносного в этом ботаническом значении нет, слово выразило сущность действия: в стволе дерева просверливалась дырочка, в которую вставлялось заостренное основание приживляемой ветки [60]. Не менее точно выразил обозначаемое действие и глагол *прививать*, то есть 'обмотать (мочалой) два соединяемых внахлестку участка древесной ветви'.

Действие по глаголу *ἐχχευρίζειν* требовало, очевидно, повышенной точности соответствия соединяемых поверхностей и сложных для того времени инструментов. Но они существовали и для еще более трудоемкой

операции такого же рода, о которой рассказал Василий Кесарийский в уже цитировавшейся нами V гомилии:

«Есть деревья, в которых естественный порок исправляется попечением земледельцев — например, кислые гранаты и слишком горькие миндали. Если в основании ствола проделать отверстие и до самой середины вогнать обмазанный клеем сосновый клин (ὅταν διατρηθεῖσαι τὸ πρὸς τῇ ρίζῃ στέλεχος σφῆρα πύκνης λιπαρὸν τῆς ἐντερικῶνης μέσης διαλαθῆντα δέξωνται), они изменяют свой неприятный вкус в надлежащее состояние» [42, с. 310].

Как все же много должен знать археолог и какой феноменальной интуицией обладать, чтобы в раскопе с насквозь проржавевшим хозяйственным инвентарем распознать инструменты, предназначавшиеся для этой диковинной операции! Особенно если он не читал Василия Кесарийского, не входящего в круг чтения даже историков биологии [62]. Между тем, именно за археологами, за историками материальной культуры будет последнее слово в решении вопроса о том, почему в славянской лексике нет слов, по внутренней форме аналогичных греческому ἐχρηστρίζειν, т. е. вопроса о том, применялся ли в славянских землях инструмент, пригодный для соответствующего действия.

А пока можно констатировать твердые факты: действие прививки плодового дерева древние славяне выражали глаголами *присадити* (в каноне Конону — *пресаженъ* вместо ожидаемого *присаженъ*) и *присадити*. Первый из этих глаголов вышел из употребления, оставив реликт в языке современной техники: например, металлурги говорят о *присадке* ванадия, хрома, молибдена, превращающей простую сталь в легированную, высокопрочную. Второй глагол дал жизнь здравствующему русскому термину садоводства *присесть*, который в сопоставлении с древним консонантизмом корня поддается теперь более надежному этимологизированию, чем это было возможно для М. Фасмера.

В глаголической службе, чествующей солунских братьев Кирилла и Мефодия и восходящей к памятникам великоморавской эпохи, о славянских первоучителях сказано: *se esta b. maslink iz zagradi Golin'skie* [63]. Из сказанного выше явствует, что сравнение далеко не случайно, оливковый сад определен историками культуры как очень древний «политико-религиозный миф» [64]. Не менее важен и виноградник, наиболее древний фактор в истории приобщения славян к садоводству, благодаря античной греческой колонизации северного Причерноморья; как раз семена винограда являются наиболее частой археологической находкой в этом районе и на юго-западе СССР [65; 66]. Но история славянского виноградарства — это отдельная, не затрагиваемая нами тема.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Chantraine H.* Heredium. — In: Der kleine Pauly, 12. Lfg. Stuttgart, 1966, Sp. 1059.
2. *Колесников В.* Плодоводство. — В кн.: Сельскохозяйственная энциклопедия. Т. 4. М., 1973, с. 980.
3. *Мурьянов М. Ф.* О Десятичной церкви князя Владимира. — В сб.: Восточная Европа в древности и средневековье. М., 1978, с. 171—175.
4. *Синская Е. Н.* Учение Н. И. Вавилова об историко-географических очагах развития культурной флоры. — В сб.: Вопросы географии культурных растений и Н. И. Вавилов. М.—Л., 1966, с. 22—31.
5. *Schneider C.* Garten. — In: Reallexikon für Antike und Christentum, hg. von Th. Klauser. 63. Lfg. Stuttgart, 1972, Sp. 1052.
6. *Beranová M.* Obst. — In: Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas, 2. Bd. Prag, 1969, S. 947.
7. *Beranová M.* Zemědělství starých Slovanů. Praha, 1980.
8. *Körber-Grohne U.* Nutzpflanzen und Umwelt im römischen Germanien. Stuttgart, 1979.
9. *Hopf M.* Vor- und frühgeschichtliche Kulturpflanzen aus dem nördlichen Deutschland. Mainz, 1982.
10. *Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus.* Institutiones divinarum et humanarum litterarum. — In: Patrologia latina, t. 70. Paris, 1847, lib. I, 28, 6—7.
11. *Fois-Ennas B.* Il Capitulare de villis. Milano, 1981.
12. *Metz W.* Die Agrarwirtschaft im karolingischen Reiche. — In: Karl der Grosse. Persönlichkeit und Geschichte. Hg. von H. Beumann. Düsseldorf, 1966, S. 489—500.
13. *Комаров В. Л.* Избранные сочинения. Т. 12. М.—Л., 1958, с. 61.

14. Ковалевский А. П. Книга Ахмеда ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921—922 гг. Харьков, 1956, с. 136.
15. Денисова Л. В., Никитина С. В. Дикие сородичи культурных растений и их охрана. М., 1982.
16. Бердышев А. П. От дикорастущих растений до культурной флоры. М., 1984.
17. Засурцев П. И. Новгород, открытый археологами. М., 1967, с. 115.
18. Жуковский П. М. Культурные растения и их сородичи. Л., 1971, с. 447.
19. Kirkinen H. Karjala idän kulttuuripiirissä. Helsinki, 1963.
20. Паляин Н. П. Материалы для составления истории Валаамского монастыря. Вып. 1. О розысках древностей честной обители. Выборг, 1916.
21. Богославский Г. А. Соловецкие острова. Путеводитель. М., 1968, с. 90.
22. Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977, с. 236.
23. Tzuranis C. Fourteen Early Byzantine Cantica. Wien, 1968.
24. Der altrussische Kondakar. Das Kirchenjahr, 2: Dezember bis März. Hg. von A. Dostál, H. Rothe, E. Trapp. Giessen, 1979, S. 188—189.
25. Рода нашего напевы. Избранные песни рунопевческого рода Перттуенов. Научный редактор Э. Г. Карху. Петрозаводск, 1985, с. 83, 246.
26. Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 3. СПб., 1912.
27. Словарь церковнославянского и русского языка, составленный II Отделением Имп. АН. Т. 4. СПб., 1847, с. 480.
28. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. М., 1882 (1955), с. 673.
29. Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. М., 1977, с. 55.
30. Этимологический словарь славянских языков. Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 1. М., 1974, с. 59.
31. Keydell R. Kerkidas.— In: Der kleine Pauly, 14. Lfg. Stuttgart, 1967, Sp. 200—201.
32. Chantraine P. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Т. 3. Paris, 1974, p. 951.
33. Krinetzki L. Das Hohe Lied. Kommentar zu Gestalt und Kerygma. Düsseldorf, 1964, S. 171, 304.
34. Геопоникс. Византийская сельскохозяйственная энциклопедия X в. Введение, пер. с греческого и комментарии Е. Э. Липшиц. М.— Л., 1960.
35. Этимологический словарь славянских языков. Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 1. М., 1974, с. 44—47.
36. Этимологический словарь славянских языков. Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 7. М., 1980, с. 156—157.
37. Enciclopedia agraria Italiana, vol. VI. Roma, 1969, p. 4.
38. Gregorii Nysseni opera. Vol. 8/2. Epistulae. Ed. G. Pasquali. Leiden, 1959, p. 68—72.
39. Honigmann E. Vanota.— In: Pauly — Wissowa. Realencyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft. 2. Reihe. 15. Halbband. Stuttgart, 1955, Sp. 348.
40. История Византии. Т. 1. М., 1967, с. 76.
41. Plotinus. Enneads, vol. 2. Cambridge (Mass.) — London, 1979.
42. Basile de Césarée. Homélie sur l'Hexaéméron, ed. S. Giet. Paris, 1968 (=Sources chrétiennes, n° 26 bis), p. 313.
43. Scharff B. Der Garten im Wandel der Zeiten. Leipzig, 1984, S. 50.
44. Feist S. Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache. Leiden, 1939, S. 295.
45. Bibliotheca Sanctorum. Т. 4. Roma, 1964, col. 152—154.
46. Lexikon der christlichen Ikonographie, 7. Bd. Freiburg, 1974, S. 332—333.
47. Мурьянов М. Ф. К культурным взаимосвязям Руси и Запада в XII в.— Ricerche Slavistiche, vol. 14. Roma, 1966, fig. 5, с. 38.
48. Артамонов М. И. Мастера Нередицы.— Новгородский исторический сборник. Вып. 5. Новгород, 1939, с. 43—44.
49. Мурьянов М. Ф. Синие молнии.— В сб.: Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти В. В. Виноградова. Л., 1971, с. 23—28.
50. Мурьянов М. Ф. К символике нередицкой росписи.— В сб.: Культура средневековой Руси. Посвящается 70-летию М. К. Каргера. Л., 1974, с. 168—170.
51. Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 8. М., 1981, с. 16—21 (статья О. В. Малковой).
52. Апракос Мстислава Великого. Под ред. Л. П. Жуковской. М., 1983, с. 259.
53. Μηαηα τοϋ ελλοσ ενιατοϋ, 4. εν Ρωμη, 1898, с. 24.
54. Analecta hymnica Graeca, VII. Roma, 1971, p. 365.
55. Davies W. D. Romans 11, 13—24. A Suggestion.— In: Paganisme, judaïsme, christianisme. Influences et affrontements dans le monde antique. Mélanges M. Simon. Strasbourg — Paris, 1978, p. 131.
56. Actus epistolaeque apostolorum palaeoslovenice. Ed. Lem. Kažuňiacki. Wien, 1896, p. 128—129.
57. Древнеславянский Апостол. Послания апостола Павла. Труд Г. А. Воскресенского. Вып. 1. Послание к Римлянам. Сергиев Посад, 1892, с. 170—175.
58. Еремин И. П. Литературное наследие Кирилла Туровского, 8.— Труды отдела древнерусской литературы ИРЛИ (Пушкинский Дом) АН СССР. Т. 15. М.— Л., 1958, с. 347.
59. Rech Ph. Inbild des Kosmos. Eine Symbolik der Schöpfung. 2. Bd. Salzburg, 1966, S. 509, 511.

60. *Gross W. H.* Öl, Ölbaum.— In: *Der kleine Pauly*, 19. Lfg. Stuttgart, 1970. Sp. 244—246.
61. Древнегреческо-русский словарь. Составил И. Х. Дворецкий. Под ред. С. И. Соболевского. Т. 1. М., 1958, с. 450.
62. *Поляков И. М.* Вопросы истории биологии... (предисловие редактора).— В кн.: *Луневич В. В.* От Гераклита до Дарвина. М., 1960, с. 9.
63. *Slovník jazyka staroslověnského*, 18. Praha, 1968, p. 193.
64. *Detienne M.* L'olivier, un mythe politico-religieux.— *Revue de l'histoire des religions*. Т. 178. Paris, 1970, p. 5—23.
65. *Янушевич З. В.* Культурные растения первобытного периода и средневековья на Юго-Западе СССР. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук. Кишинев, 1978.
66. *Николаенко Г. М., Янушевич З. В.* Культурные растения из раскопок сельской округи Херсонеса.— *Краткие сообщения Института археологии АН СССР*, № 168. М., 1981, с. 26—34.



ДИАХРОННЫЕ КОНСТАНТЫ СЛАВЯНСКОГО ИМЕННОГО СЛОВОПРОИЗВОДСТВА И ФЕМИННЫЕ СУФФИКСЫ В СЕРБОХОРВАТСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

Диахронными или диахроническими константами в современной лингвистике именуется односторонние, но хронологически не тождественные процессы, характеризующие эволюцию как родственных, так и неродственных языков [1].

Изменения, моделируемые диахронными константами, могут отличаться в исследуемых языках не только временным срезом, но и степенью интенсивности, а также другими специфическими приметам, характерными для каждого отдельного языка.

Изучение общих, но разновременных процессов в генетически родственных языках относится к внутренней типологии или микротипологии в ее историческом аспекте. Теория диахронных констант, активно разрабатываемая в советском языковедении, может быть использована при сопоставительном рассмотрении различных структурных параметров славянских языков, в том числе словообразовательных.

В славянской сопоставительной дериватологии актуальна проблема конкуренции именных суффиксов с генетически тождественными элементами «к» и «ц». Названная конкуренция по своим истокам относится к праславянской эпохе [2, с. 4], затрагивая в дальнейшем как славянский диалектный континуум, так и славянские литературные языки. Лингвисты указывают, что активность и исход данного суффиксального противоборства неоднозначны, соотносятся с разными периодами развития языков восточных, западных и южных славян.

В историческом плане подробно рассмотрены взаимодействия деминутивов с «к»- и «ц»-суффиксами на материале отдельных славянских языков (русского, чешского, польского), что подготавливает надежность сопоставительного анализа диахронных констант в этой семантико-словообразовательной категории [3].

На базе изменений в системе славянских деминутивов (преимущественно, в языках восточных и западных славян) делаются попытки выявления причин замены «ц»-суффиксов их конкурентами: подчеркивается потеря экспрессивности старыми уменьшительными образованиями, вызывающая экспансию «к»-формантов [2, с. 11], говорится о функциональной перегрузке аффиксов с фонетическим элементом «ц» [4], приводятся объяснения локального характера.

Другая модификационная словообразовательная категория — *popina feminina* — менее изучена в славистике с позиций исторической дериватологии и конкуренции названных формантов.

Противоборство славянских феминных суффиксов рассмотрел известный югославский дериватолог Р. Бошкович, типологически обособивший

словенский и сербохорватский языки, которые, в отличие от других славянских, сохраняют активность формантов с элементом «ц», т. е. *-иц-а* и его наращенных вариантов [5, с. 185]. Выводы Р. Бошковича вызывают особый интерес к динамике феминных систем в языках-исключениях — сербохорватском и словенском; однако он почти не занимался фактами сербохорватского литературного языка, которые находились вне сферы его научных интересов [6].

Современные югославские дериватологи, в том числе писавшие о *nomina feminina* [7], не ставили перед собой задачу рассмотреть именно словопроизводства сербохорватского литературного языка нового времени в историческом перспективе, в его развитии от эпохи Вука Караджича до современного состояния, а, следовательно, не могли ответить на вопрос, стабильно ли преимущество суффикса женскости *-иц-а* или, иначе, в какой мере экспансия «к»-формантов в качестве константы славянского словообразования затрагивает феминную деривацию современного сербохорватского литературного языка.

Нами рассматривается конкуренция формантов женскости с «к»- и «ц»-элементами в *nomina feminina* сербохорватского литературного языка нового времени для двух синхронных срезов: XIX и XX вв. Выделение двух названных синхронных срезов связано с периодизацией сербохорватского литературного языка, отражающей реальный ход его эволюции. Так, если первый указанный период начался с реформы Вука Караджича и характеризовался в истории сербохорватского книжного языка интенсивным проявлением тенденции демократизации, «олитературиванием» народных словообразовательных средств, то второй синхронный срез отличает новый качественный сдвиг: параллельное функционирование и даже активное взаимодействие тенденций демократизации и интеллектуализации книжной речи, с широким использованием заимствований из «мировых» языков [8, с. 226], что в системе именного словообразования не могло не сказаться на репертуаре как новых формантов, так и новых мотиваторов.

Анализ феминной деривации проводится на материале словарей и художественных текстов [9—15]. Словари XX в. [10; 11] использовались и как свидетельства о лексике новейшего периода, и как вспомогательный материал для освещения словообразовательной системы XIX в. (на основе содержащихся в них ссылок на более ранние источники).

Метод внутриязыкового сопоставления *nomina feminina* в истории сербохорватского литературного языка XIX и XX вв. позволил увидеть некоторое ослабление активности суффикса *-иц-а* во втором периоде.

Говоря о некотором ослаблении продуктивности суффикса *-иц-а* необходимо подчеркнуть, что во время формирования сербохорватского литературного языка на народной основе, т. е. в эпоху реформы Вука Караджича и становления норм и стилей литературно-книжной речи во второй половине XIX в., названный суффикс был главным формантом в системе феминной деривации. Это подтверждается, во-первых, разнообразием моделей с ним: наибольшее количество словообразовательных образцов по сравнению с другими аффиксами в системе — более 20; во-вторых, самим корпусом феминативов XIX в. Так, в Словаре И. Броза и Ф. Ивковича, изданном в 1901 г. [13]¹, всего фиксируется 681 производная женская номинация, из которых 304 феминатива, т. е. 44,6% образовано с помощью *-иц-а*, 129 слов, т. е. 18,9% — имеют суффикс *-к-а*; 17 лексем, т. е. 2,5% — суффикс *-иь-а*; 64, т. е. 9,4% — суффикс *-киь-а*; 167, т. е. 24,5% созданы остальными формантами, а также другими деривационными способами.

Словообразовательная система *nomina feminina* с активным использованием образцов на *-иц-а*, в частности таких специфических моделей,

¹ Несмотря на критические замечания, делавшиеся еще В. Ягичем [16], Словарь И. Броза и Ф. Ивковича рассматривается югославистами как определенный этап в развитии лексикографии сербохорватского литературного языка XIX в. и активно привлекается для исследований различного плана [8, с. 218].

типологически отделяющих сербохорватский и словенский от других славянских [5, с. 188], как «Masc.² на -ач + -иц-а», ср. *везачица, играчица, копачица, пливачица, спавачица* и под.; «Masc. на -ар + -иц-а», ср. *вратарица, говедарица, господарица, кључарица, крчмарица* и др.; «Masc. на -аш + -иц-а», ср. *богаташица, великашица, карташица, мудријашица* и под., в основном сохраняется в именном словопроизводстве сербохорватского литературного языка XX в., но эта система накапливает определенные изменения, касающиеся именно суффикса -иц-а.

Об уменьшении степени участия суффикса -иц-а в феминном словопроизводстве XX в. по сравнению с предыдущим периодом свидетельствует целый ряд процессов:

а) утра та некоторых моделей с суффиксом -иц-а, а именно «Masc. на -ин + -иц-а», ср. *домачин — домачиница*; «Masc. на -ичар + -иц-а», ср. *гостионичар — гостионичарица* и под.;

б) закрепление за суффиксом -иц-а в ряде моделей статуса не общекнижного, а регионально-литературного форманта в связи с формированием в сербохорватском литературном языке вариантов, соотнесенных с территорией обитания и национальной принадлежностью носителей языка;

в) сокращение словообразовательной базы отдельных моделей, например, образца «Masc. на Ø + -иц-а» и др.;

г) вытеснение -иц-а с позиций главного форманта в новых словообразовательных образцах, закрепившихся в XX в.

Причины, вызвавшие изменения в активности суффикса -иц-а, были в сербохорватском языке своеобразны, неоднородны и иногда даже противоречивы по своей сути.

Так, сербохорватский литературный язык, несмотря на свой статус младолитературного, как книжно-стандартный, с одной стороны, испытывал стремление избавиться от словообразовательной синонимии, от дублетности, что и привело к укреплению в качестве нерегиональных, общелитературных образцов «Masc. на -ин + -к-а», «Masc. на -ичар + -к-а» с заменой однокоренных моделей на -иц-а.

С другой стороны, уже во второй половине XIX в. народная база сербохорватской книжной речи значительно расширилась за счет языковых особенностей экавских территорий [17], что проявилось и в словообразовательной системе литературного языка, где стали активнее укрепляться в качестве параллельных образцы с феминным -к-а, ограничивающие в известной мере функциональность моделей на -иц-а, ср. дериваты, фиксируемые в [10] и [11] со ссылками на тексты конца XIX — начала XX в.: *кључарица* и *кључарка*, *лекарица* и *лекарка*, *секретарица* и *секретарка*, *сликарица* и *сликарка*, *чуварница* и *чуварка* и под. Рассказ А. П. Чехова «Аптекарьша» в начале XX в. в Загребе был назван «Аптекарица», а в сербских журналах чаще переводился как «Аптекарька» [18].

Процесс взаимодействия феминных моделей на -иц-а и -к-а с их постепенной поляризацией по регионально-вариантному признаку в литературном языке своим локальным происхождением, хронологией и функциональной направленностью в известной мере аналогичен более исследованному в сербокroatистике расслоению фонетико-орфоэпических норм в истории сербохорватского литературного языка XIX — начала XX вв., когда установленная реформой В. Караджича иекавщина была потеснена экавским произношением восточных (сербских, воеводинских) территорий.

Однако следует заметить, что корпус феминативов XIX в. еще не свидетельствует о четкой поляризации словообразовательных норм в соответствии с формирующимися национально-региональными вариантами литературного языка. Так, феминные корреляты к номинациям мужского рода на -тель своим локалитетом и функциями в литературном языке соответствуют, скорее всего, схеме привативной оппозиции: хорватские писатели, напр. А. Шеноа, используют обычно только феминативы на

² Masc.— номинация лица мужского пола.

-иц-а, типа *мучительница, родительница*, тогда как у сербских авторов Д. Даничича, Я. Игнатовича, М. Миличевича и др. возможны *воспитательница* и *воспитателька, родительница* и *родителька, учительница* и *учителька* и под., ср. [19].¹

На функционирование аффиксов могут влиять морфонологические параметры модели, а также тенденции к разрушению в языке памяти о тех или иных фонетических закономерностях.

С этой точки зрения сербохорватский литературный язык занимает особое место в сокращении рефлексов I палатализации заднеязычных [20], тех рефлексов, которые, как известно, исходно должны были проявляться при присоединении суффикса *-иц-а*. Утрата на морфемном шве альтернатив *г, к, х > ж, ч, ш* традиционно отмечается югославистами только по отношению к деминутивам и гипокористикам на *-иц-а*, когда возникают конкурентные пары типа *ручица / рукица, Анчица / Анкица*, иногда приобретающие особые оттенки значения.

На фоне деминутивно-экспрессивных образований фемининативы на *-иц-а* трактуются в югославистике как более консервативный класс слов, в котором дериваты с альтернативой заднеязычных в шипящие немногочисленны, но возможны [21].

Однако сравнение корпуса номинаций лиц женского пола XIX и XX вв. убеждает нас, что утрата рефлексов I палатализации сопровождается и феминную деривацию. Замена *г, к, х > ж, ч, ш* отмечается только в тех фемининативах и названиях самок животных (феминная функция в широком смысле слова), которые возникли до XX в.: ср. *божица, владичица, вражица, вукодлачица, вучица, дружица, пророчица, сиромашница, хаджичица, херцежица* и под.

Следовательно, феминный суффикс *-иц-а* в современном сербохорватском литературном языке утрачивает свой фузионный характер (за исключением случаев *ц > ч*, ср. *зец — зечица*). Суффикс женскости *иц-а* «отказывается» от основ на *г, к, х*³, передавая их суффиксу *-иь-а*, укрепление позиций которого отмечалось уже в XIX в. появлением у П. Прерадовича окказионализма *пророжиьа* вместо более раннего *пророчица* [22].

Утрата альтернатив *г, к, х > ж, ч, ш* переводит суффикс *-иц-а* на позиции агглютинативного форманта, но сужает, уменьшает его словообразовательную базу.

Из всех названных выше процессов, влияющих на активность суффикса женскости *-иц-а*, главным было ограниченное использование этого форманта в новых моделях, которые появились на рубеже XIX и XX вв. Можно сказать, что первые три процесса — утрата одних образцов, снижение словообразовательной базы других, развивающийся «регионализм» форманта *-иц-а* в сербохорватском литературном языке — вносили, так сказать, консервативные изменения в систему фемининативов.

Уязвимость форманта женскости *-иц-а* особенно остро, наглядно и существенно проявилась тогда, когда после реформы Вука Караджича, основным стержнем которой была тенденция к демократизации литературного языка, наступил этап активности тенденции интернационализации (вторая половина XIX и начало XX в.).

Тенденцию к интернационализации литературных языков лингвисты прежде всего связывают с терминологией, отвлеченными существительными и под. В действительности роль тенденции к интернационализации значительно шире и в области лексики, и в области словообразования. Велика роль этой тенденции в сфере номинации лиц. Иноязычные слова, называющие лиц по профессии, занятиям, общественному статусу, по мировоззрению, взглядам, принадлежности к тем или иным учениям и политическим партиям, как свидетельствуют словари, начали активно

³ Слова *колегица, педагогица, шокица* единичны и иноязычны по происхождению. Этимология слов *шокац — шокица* не прояснена до конца, но на их иноязычность указывал уже Вук Караджич [9, с. 874], ср. также [14, sv. 73, s. 710].

входить в сербохорватский литературный язык конца XIX — начала XX вв. Эти слова составляли базу для производства соотносительных женских номинаций.

Следует учитывать, что сербохорватские *nomina feminina* как модификационный словообразовательный класс не приняли в свою систему чужих формантов женскости. Корпус фемининативов с романскими по происхождению суффиксами *-es-a*, *-is-a*, известными и другим славянским языкам, в современном сербохорватском литературном языке составляет не более 20 слов типа *абатиса*, *актриса*, *балетеза* (с процессом ленизации, озвончения дентального), *баронеса*, *директриса*, *патронеса*, *позтеса*, *принцеса* (и *принцеза*), *стјуардеса* и др., причем большинство из них фиксируются только в словарях иностранных слов, являюся по происхождению словарными заимствованиями, а не деривационно созданными лексическими единицами. Пары слов типа *барон* — *баронеса*, *патрон* — *патронеса* говорят о вычленяемости *-es-a*, однако данный формант не стал словообразовательно активным в сербохорватском языке.

Следовательно, сложившаяся в эпоху Вука Караджича феминная деривационная система сербохорватского литературного языка должна была обслужить новые модели, новые названия лиц женского пола, производные от иноязычных номинаций.

Во второй половине XIX — начале XX вв. производство феминных дериватов от иноязычных основ не имело установленных образцов. Поэтому однокоренные дублеты появлялись даже в языке писателей одного территориально-национального региона. Например, у хорватских авторов, т. е. в западном регионе, где модели на *-иц-а* были наиболее устойчивы, используются следующие женские корреляты к словам *аристократ* и *демократ*: *аристократица* (А. Шеноа [11, кн. I, с. 164]), *аристократкиња*, *демократкиња* (Я. Лесковар [15, с. 125]), *аристократка*, *демократка* (К. Дальский [11, кн. I, с. 164]). Ср. также использование коррелятивных женских номинаций от слова *дипломат* в XIX в.: *дипломатица*, *дипломаткиња*, *дипломатка* [11, кн. IV, с. 328]. Не исключено, что слова *аристократка*, *демократка*, *дипломатка* и под. в связи с нетипичным для сербохорватского языка употреблением *-к-а* после несонорного исхода основы появлялись под влиянием лексики русской литературы, хотя [11] дает такое указание только к слову *гимназистка* со ссылкой на М. Крлежу [11, кн. III, с. 325].

Выполнить требование времени в создании новых сербохорватских феминных номинаций, коррелирующих с иноязычными основами на *-ант* (*-ент*), *-ист(а)*, *-ат*, *-ор*, *-тор*, *-ер*, *-ир* и другими, должны были семантически наиболее четкие форманты.

В этот период создания новых моделей с иноязычными основами на действие суффикса *-иц-а* оказала влияние языковая универсалия, связанная со снижением продуктивности семантически перегруженных аффиксов. Можно предположить, что именно полифункциональность суффикса *-иц-а*, создававшего фемининативы, деминутивы, *nomina loci*, *nomina instrumenti* и другие предметные номинации, стала причиной его слабости, уменьшения его активности в новых моделях. Структурная сложность, многофонемность оказались менее существенным фактором, чем сложность семантическая. Поэтому по сравнению с традиционным суффиксом сербохорватского литературного языка XIX в. *-иц-а* в новых моделях повысил свою активность не только формант *-к-а*, тяготевший к основам на сонорный и ограниченный этим морфонологическим фактором [23], но и трехфонемный суффикс *-кињ-а*, характеризующийся семантической однозначностью, феминностью.

Хорватский лингвист М. Храсте еще в 50-е годы отметил, как «в новое время все больше употребляется суффикс *-кињ-а* в существительных женского рода, которые образуются от существительных мужского рода, заканчивающихся на *-ист*» [24, с. 106], подчеркнув, что присоединение *-кињ-а* к иноязычным основам характерно для разных территориально-национальных вариантов современного сербохорватского литературного языка, ср. *активисткиња*, *антифашисткиња* и под.

Мотиваторы муж. рода	Число дериватов жен. рода	Феминные номинации					
		-иц-а	%	-кинь-а	%	-к-а	%
-ант (-ент)	62	28	45,2	33	53,2	1	1,6
-ист	144	31	21,5	112	77,8	1	0,7
-ат (и другие на гласный + -т)	41	4	9,8	32	78	5	12,2

Таблица 2

Мотиваторы муж. рода	Число дериватов жен. рода	Феминные номинации			
		-иц-а	%	-к-а	%
-ор (-тор)	36	9	25	27	75
-ер	82	21	25,6	61	74,4
-ур	15	3	20	12	80

Определенное представление о вытеснении суффикса *-иц-а* с позиций главного форманта, о его скромной роли в моделях с иноязычными основами дают статистические таблицы (№ 1 и 2) составленные на материале Словаря Матицы Сербской [10] с проверкой соответствующих лексем по [11] (изданные тома) и [14].

Наибольшую частотность *-иц-а* сохраняет в западном регионе после основ на *-ант (-ент)*, что отмечалось и в примерах М. Храсте [24, с. 107], ср. *абсолютница, матурантица, студентка* и под.

Суффикс *-к-а* продуктивен после иноязычных основ на сонорный и в этих условиях параллельные формы на *-иц-а* не всегда создаются, что подтверждают и хорватские лингвисты [25] ср. *докторка* и *докторица*, но только *хотелижерка*.

Таким образом, позиция суффикса *-иц-а* в феминной деривации сербохорватского литературного языка нового времени не является статичной.

Развитие этого языка во второй половине XIX и XX вв. показывает, что константа славянского именного словопроизводства — экспансия «к»-формантов — своеобразно проявляется и в сербохорватских книжно-литературных формах речи.

Причины снижения активности суффикса *-иц-а* несколько, но основными являются региональная поляризация норм литературного языка в словообразовании и формирование новых моделей с иноязычными основами.

Хотя продуктивность феминного форманта *-иц-а* по сравнению с эпохой Вука Караджича в современном сербохорватском литературном языке несколько снижается, по совокупности моделей, им обслуживаемых, он продолжает сохранять свой приоритет в феминном словопроизводстве этого языка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гукман М. М. Историческая типология и проблемы диахронических констант. М., 1981, с. 45.
2. Аванесов Р. И. К истории чередования согласных при образовании уменьшительных существительных в праславянском. — В кн.: Славянское языковедение. VI Международный съезд славистов. М., 1968.
3. Warchol S. Les formations expressives avec le formatif *-ica dans les langues slaves du groupe oriental en comparaison avec celles de la langue polonaise. — В кн.: IX Международный съезд славистов. Резюме докладов и письменных сообщений. М., 1983, с. 107.
4. Нецименко Г. П. Очерк демипутивной деривационной системы в истории чешского литературного языка. Прага, 1980, с. 242.
5. Бошкович Р. Основы сравнительной грамматики славянских языков. Фонетика и словообразование. М., 1984.
6. Толстой Н. И. Предисловие к кн.: Бошкович Р. Основы сравнительной грамматики славянских языков. Фонетика и словообразование. М., 1984, с. 14.

7. *Ђорић Б.* Моциони суфикси у српскохрватском језику. Београд, 1982.
8. *Радовановић М.* Проблеми изучања славјанских литературних језыков в славјанских странах: Србохрватски језык.— В кн.: Формировање славјанских литературних језыков: теоретичке проблеме. М., 1983.
9. *Караџић Вук Ст.* Српски рјечник. Београд, 1898.
10. Речник српскохрватског књижевног језыка. Књ. I—VI. Нови Сад, 1967—1977.
11. Речник српскохрватског књижевног и народног језыка. Књ. I. Београд, 1959.
12. *Ђујаковија М.* Лексикон страних речи и израза. Београд, 1977.
13. *Ђевковић Ф., Броз I.* Рјечник хрватскога језыка, св. I, II. Загреб, 1901.
14. Рјечник хрватскога или српскога језыка., I—XIX. Загреб, 1880—1967.
15. *Лесковар Ј.* Propali dvori. Загреб, 1978.
16. *Јагић В.* Izabrani kraći spisi. Загреб., 1948, s. 562.
17. *Јерковић Ј.* Језык Јакова Игнатовића. Нови Сад, 1972, с. 6.
18. *Чезов А. II.* Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. Т. 5. М., 1985, с. 679.
19. *Малић Д.* Рјечник JAZU као показатељ јединствености хрватско-српског дијалекта и посебности варијаната стандардног језыка.— Језык, год. 28, 1980/1981, бр. 4, с. 100.
20. *Белић А.* Основи историје српскохрватског језыка. Фонетика. Београд, 1966, с. 114.
21. *Ђабрић Ст.* Izvedenice sufiksom *-ica* од именичких основа.— Језык, год. 19, 1971/1972, бр. 4—5, с. 118.
22. *Ристић О.* Лексико-семантичке одлике творбе именица у неких српских и хрватских романтичарских песника.— Јужнословенски филолог, књ. 28, 1969, с. 288.
23. *Смольская А. К.* К вопросу о дистрибуции феминных суффиксов в сербохорватском языке.— Зборник за филологију и лингвистику, XII, 1974, № 2, с. 116.
24. *Нрасте М.* Tvorba imenica ženskog roda од страних именица мушког рода са завршетком «*ta*». Језык, год. 5. 1956/1957, св. 4.
25. *Рагуш Др.* Strane riječi s dočetakom *-ier (e)* у хрватском језыку.— Језык, год. 21. 1973/1974, бр. 3—4, с. 101.



ЗОНАЛЬНАЯ ГРУППИРОВКА СЛАВЯНСКИХ ТЕКСТОВ XV—XVI ВЕКОВ

Сопоставительная морфология и лексикология древнеславянских центров письменности находится пока еще на начальном этапе. Можно думать, однако, что во многом она будет развиваться по методам и принципам, накопленным в славянской диалектологии и лингвистической географии.

Подобно диалектам, славянские тексты XIV—XVII веков образуют сплошной мозаичный ковер, простирающийся от Сербии, Хорватии, Словении и Болгарии через Валахию, Западную и Юго-Западную Русь к Московской Руси и Русскому Северу. При этом с лингвистической точки зрения любой средневековый текст можно рассматривать как отдельный диалект. Отдельные совокупности текстов, подобно диалектам и наречиям, образуют группы текстов, близких в том или ином отношении. Об актуальности сопоставительного изучения языка основных славянских центров обстоятельно писал еще в 1963 г. Н. И. Толстой [1] (см. также [2]).

Высокая степень сохранности славянских текстов, в частности профессиональных, позволяет сопоставлять отраженные в них славянские языковые системы не только ареально на огромных пространствах от Сербии и Болгарии до крайнего Русского Севера, но и хронологически по отдельным векам, о чем в синхронической славянской диалектологии не приходится даже и мечтать.

Идя по пути создания полных парадигм, реестров морфем разных типов, словоуказателей, конкордансов и словарей к отдельным памятникам (центрам письменности), сопоставляя затем между собой факты текстов и зон, изученных лучше других, мы придем постепенно к относительно полной картине ареального и жанрового распределения славянских морфем и слов и сможем более уверенно говорить о неологизмах изводов, школ и авторов отдельных текстов. Удачный и интересный опыт анализа лексики одного из произведений Григория Цамблака см., например, у А. Давидова [3; 4].

При этом следует различать исследования, направленные, с одной стороны, на характеристику системы языка как таковой в ее ареальном, жанровом и хронологическом аспектах, а с другой — на воссоздание истории текста. При моделировании системы языка главным является выявление основных, доминирующих типов и тенденций; здесь наиболее показательны морфология, высокочастотное в статистике. История памятника связана с проблемами атрибуции текста; здесь главное — выделение диагностических различительных признаков текста. Наиболее показательны в этом отношении письмо текста, его лексика, синтаксис, собственно стилистика, низкочастотное в статистике.

Промежуточное положение занимают работы по полному описанию языка памятника, которые всегда выступают как репрезентация фрагмента.

инвариантной системы языка и одновременно содержат немало данных для истории текста. При этом характеристика памятника по месту его создания, написания, по принадлежности его к той или иной национальной литературе и с точки зрения отнесения его к типу той или иной языковой системы нередко могут не совпадать.

В 1974 и в 1977 гг. в Ленинграде были опубликованы две книги, две части единого коллективного исследования филологов Ленинградского университета, посвященного лингвостатистическому анализу именного склонения в славянских языках по данным 44 памятников XI—XIV вв. [5] и 60 памятников XV—XVI вв. [6].

Поскольку настоящая статья построена на материалах памятников XV—XVI вв., напомним еще раз основные положения второй из этих книг (подробнее см. [7]).

Объем выборки по каждому тексту (автору, памятнику, совокупности текстов локального центра) — 12 000 словоупотреблений; общий объем выборки по текстам XV—XVI вв. — 720 000 словоупотреблений. Все источники были распределены хронологически, ареально и в жанровом отношении¹. Для каждого текста (автора, локального центра) в книге приводится полный список флексий и их частот.

Зональная группировка для различных периодов в истории славянских языков осложняется, в частности, отсутствием достаточно широкого круга славянских памятников, обследованных на одинаковых основаниях. Материалы книги «Именное склонение в славянских языках XV—XVI веков», единая шкала сравнения (12 000 словоупотреблений), жанровое разнообразие и сравнительно большое число текстов и локальных центров, привлеченных для анализа, позволяют по-новому взглянуть на некоторые вопросы славянской исторической диалектологии и в ряде случаев на статистической основе выделить четкие славянские ареальные зоны эпохи средневековья. Та или иная флексия в памятниках XV—XVI вв. нередко распространена повсеместно, но как статистически сильная она выступает только в определенных текстах и ареалах. Различия в частотности флексий по отдельным славянским локальным центрам и текстам XV—XVI вв. и выделяют те или иные ареальные зоны.

В работе 1982 г. нами по конфессиональным и повествовательным текстам XV—XVI вв. уже были очерчены некоторые типы ареалов, характерных для славянской территории этого периода [7]. Ниже в статье те или иные ареалы выделены на основе всех материалов и всех текстов, использованных в [6]. При этом намечаемые ниже зоны следует трактовать не в традиционном диалектологическом смысле, а ареально-топологически, так как они отражают не только народно-разговорные черты, но и влияние традиций, центров и школ письменности, жанров, оригинала рукописи, манеры писца. Характерной чертой выделения ареальных зон на статистической основе является обособление статистически сильного локального ядра и периферии. В статье учитываются только зоны, выделенные на основе статистического обособления. Ниже при каждом падеже приводятся все частоты, характерные для той или иной флексии, которая послужила основанием для выделения данного ареала. Флексии даются в той же форме и графике, как и в [6]. Названия самих локальных зон (центров письменности) следуют в статье в порядке степени их статистической близости к первой, основной, ядерной зоне и далее, после точки с запятой, от зон более широких по ареалу к зонам узким и частным. Данные по векам, типам текстов выделены и приводятся в той же последовательности, как в [6]. При этом все материалы приводятся отдельно по XV в. и отдельно по XVI в., все тексты по каждому веку разделены по жанрам на следующие типы — деловые (Д), летописно-хроникальные (ЛХ), повествовательные (П), конфессионально-повествовательные (КП), хождения (Хожд.). Факты приводятся по падежам, родам и флексиям, при этом по каждому веку по жанрам и далее по отдельным локальным центрам письменности и памятникам, авторам.

¹ Список источников, приведенный в [6] и [7], в данной публикации опущен.

Первая группа ареальных зон — зоны, среди которых ядерной, статистически сильной зоной выступает Чехия.

1. Чехия (статистически сильно во всех жанрах); Хорватия, Сербия, Босния (несколько слабее), Москва, Западная и Юго-Западная Русь, Польша, Болгария, Валахия, Словения. Род. ед. ср. р. **o* — *e/ѣ*. X V в е к. Д: Западная Русь — 1, Чехия — 69, Валахия — 15, Сербия — 3, Хорватия — 7, Босния — 11; ЛХ: Москва — 1; П: Новгород — 5, Чехия (Троянская история) — 57; КП: Чехия (Ян Гус) — 18, Москва — 2, Польша — 2, Болгария (Владислав Граматик) — 7, Болгария (Димитр Кантакузин) — 7, Болгария (Константин Костенечский) — 3, Валахия — 2. X V I в е к. Д: Хорватия — 13; П: Острог — 3, Юго-Западная Русь — 1, Чехия — 64; КП: Пересопница — 3, Валахия — 1, Болгария (Матей Граматик) — 2, Словения — 1.

2. Чехия (статистически сильно); Острог, Валахия, Сербия, Болгария, Москва, Псков, Новгород, Северная Двина, Западная Русь, Хорватия. Род. ед. ср. р. **o* — *ы/и*. X V в е к. Д: Северная Двина — 1, Москва — 2, Западная Русь — 4, Валахия — 4; ЛХ: Псков — 5, Западная Русь — 2; П: Москва — 8, Новгород — 3, Сербия — 7; КП: Чехия (Ян Гус) — 65, Москва (Епифаний Премудрый) — 2, Москва (Иосиф Волоцкий) — 1, Болгария (Владислав Граматик) — 2, Болгария (Димитр Кантакузин) — 5, Болгария (Константин Костенечский) — 4, Валахия — 1; Хожд.: Русь — 1. X V I в е к. Д: Чехия — 65, Хорватия — 1; ЛХ: Псков — 2; П: Москва — 4, Псков — 3, Острог — 10, Юго-Западная Русь — 2; КП: Москва (Четьи—Минеи) — 9, Западная Русь — 5, Пересопница — 3, Валахия — 10, Болгария (Матей Граматик) — 9; Хожд.: Русь — 1.

Дат. ед. ср. р. **o* — *ы/и*. X V в е к. Д: Северная Двина — 1, Псков — 3, Чехия — 39, Хорватия — 5, Босния — 1; ЛХ: Москва — 1, Западная Русь — 7; П: Новгород — 4, Чехия (Троянская история) — 45, Сербия — 5; КП: Чехия (Ян Гус) — 39, Москва (Епифаний Премудрый) — 2, Москва (Иосиф Волоцкий) — 3, Болгария (Владислав Граматик) — 13, Болгария (Константин Костенечский) — 6, Валахия — 3; Хожд.: Чехия — 4. X V I в е к. Д: Москва — 1, Вильно — 1, Чехия — 45, Хорватия — 5; П: Москва — 1, Псков — 4, Острог — 3; КП: Валахия — 3, Болгария — 7, Словения — 1.

3. Чехия (статистически сильно); Сербия, Хорватия, Босния, Дубровник, Западная Русь. Вин. ед. муж. р. **o* — *о/ѣ/ѣ*. X V в е к. Д: Северная Двина — 16, Сербия — 5, Хорватия — 6, Босния — 4, Дубровник — 1; ЛХ: — Западная Русь — 5; П: Чехия (Троянская история) — 6, Сербия — 4; КП: Чехия (Ян Гус) — 61, Болгария (Владислав Граматик) — 5, Болгария (Константин Костенечский) — 1; Хожд.: Чехия — 24. X V I в е к. Д: Брест — 2, Чехия — 14, Хорватия — 1, Острог — 1, Юго-Западная Русь — 1, Чехия — 19. Характерно отсутствие флексии в Московской Руси, исключая вспышку продуктивности на Северной Двине в грамотах XV в.

4. Чехия (статистически сильно); Хорватия, Русь, Западная Русь, Юго-Западная Русь, Словения. Тв. ед. жен. р. **a* — *у/ю*. X V в е к. Д: Юго-Западная Русь — 2, Чехия — 30, Хорватия — 3; П: Чехия — 50; КП: Чехия — 10; Хожд.: Русь — 2. X V I в е к. Д: Рязань — 2, Юго-Западная Русь — 1, Хорватия — 4; КП: Западная Русь — 1, Словения — 6.

5. Чехия (статистически сильно в XVI в. в деловых текстах); Сербия, Хорватия, Москва, Псков, Вин. ед. жен. р. **ѣ* — *и*. X V в е к. Д: Псков — 2, Валахия — 3; Чехия (Троянская история) — 1, Сербия — 3; КП: Чехия (Ян Гус) — 1. X V I в е к. Д: Москва — 2, Чехия — 119, Хорватия — 3; ЛХ: Псков — 2; П: Москва — 1, Псков — 1.

6. Чехия (в XV в. преимущественно Чехия); в XVI в. также Хорватия, Словения, Москва. Местн. ед. муж. р. **o* — *ови/еви*. X V в е к. Д: Чехия — 2; П: Чехия (Троянская история) — 1; КП: Чехия (Ян Гус) — 1. X V I в е к. Д: Хорватия — 1; КП: Москва — 1, Словения — 1.

7. Чехия (статистически сильно); Сербия, Валахия, Болгария. Род. мн. ср. р. **o* — *и*. X V в е к. П: Чехия (Троянская история) — 7, Сер-

бия — 3; КП: Чехия (Ян Гус) — 8. X V I в е к. Д: Чехия — 23; КП: Валахия — 6, Болгария (Матей Граматик) — 5.

8. Чехия (статистически сильно); Сербия, Хорватия, Дубровник. Род. мн. жен. р. **i* — *и/ы*. X V в е к. Д: Дубровник — 1, П: Чехия (Троянская история) — 19, Сербия — 1; КП: Чехия (Ян Гус) — 14. X V I в е к. Д: Чехия — 48, Хорватия — 4.

9. Чехия (статистически сильно); Польша, Хорватия, Валахия, Русь. Тв. ед. ср. р. **o* — *ым/им*. X V в е к. Д: Чехия — 49, Валахия — 1, Хорватия — 9; П: Чехия (Троянская история) — 63; КП: Чехия (Ян Гус) — 31, Польша — 10; Хожд.: Чехия — 10. X V I в е к. Д: Москва (Домострой) — 1, Рязань — 3, Чехия — 43; П: Польша — 1, Чехия — 36; КП: Польша — 3.

10. Чехия (статистически сильно). Им. ед. ср. р. **o* — *и*. X V в е к. Д: Чехия — 66; КП: Чехия — 127.

Таким образом, в этой группе особо выделяются два крупных ареала: 1) Чехия; 2) Хорватия, Сербия, Босния, Дубровник. С разной степенью статистической силы к ним примыкают Валахия, Болгария, Западная и Юго-Западная Русь и Москва.

Вторая большая группа ареальных зон — это зоны, среди которых ядерной, статистически сильной зоной выступают Москва и Псков.

1. Москва, Псков (статистически сильно только в летописно-хроникальных текстах); Западная и Юго-Западная Русь, Польша, Чехия, Сербия, Хорватия, Босния, Дубровник. Вип. мн. муж. р. **o* — *ь/ь*. X V в е к. Д: Москва — 8, Псков — 1, Западная Русь — 9, Валахия — 1, Чехия — 1, Босния — 1, Дубровник — 1; ЛХ: Псков — 60, Западная Русь — 2; П: Чехия — 1, Сербия — 2, Чехия — 3; КП: Москва (Епифаний Премудрый) — 3, Москва (Пахомий Логофет) — 1, Польша — 1. X V I в е к. Д: Москва — 11, Москва (Домострой) — 3, Москва (Судебник) — 1, Брест — 9, Вильно — 8, Юго-Западная Русь — 4, Чехия — 1, Хорватия — 1; ЛХ: Москва — 28, Псков — 32; П: Москва — 12, Псков — 6, Юго-Западная Русь — 1; КП: Москва (Четьи-Минеи) — 6, Москва (Степенная книга) — 2, Пересопница — 1.

2. Москва, Псков (статистически относительно сильно только в летописно-хроникальных, деловых текстах и текстах хождений); Западная и Юго-Западная Русь, Валахия, Болгария, Сербия, Хорватия, Словения. Род. ед. муж. р. **o* — *ь/и*. X V в е к. Д: Северная Двина — 11, Москва — 6, Псков — 3, Хорватия — 1; ЛХ: Москва — 10, Псков — 28; П: Москва — 7, Новгород — 2, Чехия — 2, Сербия — 5; КП: Москва — 6, Болгария — 2, Валахия — 2; Хожд.: Русь — 46. X V I в е к. Д: Москва — 17, Москва (Судебник) — 23, Тверь — 5, Рязань — 9, Вильно — 3, Хорватия — 4; ЛХ: Москва — 12; Псков — 9; П: Москва — 7, Псков — 14, Юго-Западная Русь — 2; КП: Москва — 2, Западная Русь — 4, Пересопница — 3, Болгария — 4, Словения — 2; Хожд.: Русь — 13.

3. Москва, Псков, Западная Русь, Болгария, Валахия, Сербия, Словения. Род. мн. муж. р. **o* — *ей*. X V в е к. Д: Москва — 8, Псков — 7, Юго-Западная Русь — 2, Западная Русь — 1; ЛХ: Москва — 22, Псков — 14; П: Москва — 10, Сербия — 1; КП: Москва (Епифаний Премудрый) — 7, Москва (Пахомий Логофет) — 2, Москва (Иосиф Волоцкий) — 25, Болгария (Константин Костенечский) — 10, Валахия — 3; Хожд.: Русь — 19. X V I в е к. Д: Москва (Домострой) — 10, Москва (Судебник) — 10, Тверь — 2, Рязань — 3, Брест — 32, Вильно — 65; Юго-Западная Русь — 13; ЛХ: Москва — 14, Псков — 17; П: Москва — 3, Псков — 8, Острог — 4; КП: Москва (Четьи-Минеи) — 11, Москва (Судебник) — 2, Западная Русь — 7, Пересопница — 7, Валахия — 4, Болгария — 9; Хожд.: Русь — 21.

4. Западная Русь, Польша, Псков, Юго-Западная Русь, Польша (статистически относительно сильно в Западной Руси, Польше и Пскове в деловых, летописно-хроникальных и повествовательных текстах, в Юго-Западной Руси в Остроге и Пересопнице — в конфессионально-повествовательных). Тв. мн. муж. и ср. р. **o* — *ами/ями*. X V в е к. Д: Северная Двина — 4, Псков — 1, Юго-Западная Русь — 2, Чехия — 3;

ЛХ: Псков — 17, Западная Русь — 6; П: Новгород — 2, Сербия — 2; КП: Чехия — 1, Москва (Пахомий Логофет) — 5; Хожд.: Русь — 3. XVI в е к. Д: Москва — 4, Москва (Судебник) — 7, Брест — 49, Вильно — 14, Юго-Западная Русь — 1, Польша — 23; П: Псков — 7, Москва — 1, Псков — 14, Острог — 12, Юго-Западная Русь — 8, Польша — 8, Польша (Петр Скарга) — 55; КП: Москва (Четьи-Минеи) — 3, Москва (Степенная книга) — 2, Западная Русь — 7, Пересопница — 25, Польша — 5; Хожд.: Русь — 1.

5. Москва, Псков, Западная Русь (везде статистически слабо), ареал выделяется по отсутствию флексии в других зонах. Род. мн. жен. р. *а — ей. XV в е к. Д: Северная Двина — 1; ЛХ: Москва — 2, Москва (Пахомий Логофет) — 1. XVI в е к. Д: Брест — 3, Вильно — 4; ЛХ: Псков — 1, Острог — 1; КП: Москва (Степенная книга) — 1, Западная Русь — 3.

Итак, во второй группе выделяются следующие укрупненные зоны: 1) Москва и Псков — как ядерная; 2) Москва, Псков, Западная и Юго-Западная Русь, Болгария, Валахия; 3) Псков, Западная Русь, Юго-Западная Русь и Польша; 4) Москва, Псков, Западная и Юго-Западная Русь.

Третья группа ареальных зон — зоны, среди которых ядерной, статистически сильной зоной выступают Хорватия, Сербия, Босния, Дубровник.

1. Хорватия (статистически сильно); Босния. Вин. ед. жен. р. *а — ъ/е. XV в е к. Д: Хорватия — 20, Босния — 2.

2. Хорватия, Сербия, Босния, Дубровник (статистически сильно в деловых текстах; в Хорватии — с XVI века); Валахия, Словения, Рязань. Тв. ед. жен. р. *а — оль. XV в е к. Д: Сербия — 22, Хорватия — 2, Босния — 18, Дубровник — 13; П: Сербия — 2; КП: Валахия — 2. XVI в е к. Д: Рязань — 1, Хорватия — 25, Словения — (Юрий Далматин) — 1.

Наконец, отметим особо две типологически равных ядерных зоны — одна с центром в собственно Польше и в Польско-Литовском государстве, а другая, возникающая, видимо, параллельно и независимо, — с центром в Сербии и Хорватии. Обе зоны представлены одним и тем же падежом и одной и той же флексией. Это зоны:

1. Польша, Западная Русь, Юго-Западная Русь (статистически сильно); Москва, Псков, Новгород, Чехия, Валахия, Болгария.

2. Сербия, Хорватия, Босния, Дубровник (статистически сильно); остальные зоны. Местн. ед. ср. р. *о — у/ю/р. XV в е к. Д: Северная Двина — 1, Сербия — 23, Хорватия — 10, Босния — 14, Дубровник — 8; ЛХ: Западная Русь — 1; П: Москва — 1, Новгород — 1, Сербия — 2; КП: Чехия — 3, Москва — 1, Польша — 30, Болгария (Димитр Кантакузин) — 1, Болгария (Константин Костенечский) — 1, Валахия — 1; Хожд.: Русь — 2, Чехия — 1. XVI в е к. Д: Рязань — 1, Брест — 29, Вильно — 18, Юго-Западная Русь — 9, Хорватия — 25; ЛХ: Псков — 1; П: Острог — 23, Польша — 8, Польша (Петр Скарга) — 21; КП: Западная Русь — 6, Пересопница — 8, Польша — 24, Валахия — 1, Болгария (Матей Граматик) — 2, Словения (Юрий Далматин) — 2, Словения (Примус Трубер) — 3.

Единая шкала сравнения, в ряде случаев строгость методов позволяют более точно на достаточно широком общеславянском фоне определить место того или иного локального центра среди других ареалов и его связи с ними в XV—XVI вв.

Так, например, согласно приведенным лингвостатистическим данным средневековый Псков теснее всего связан с Москвой, хотя данные по Пскову обычно статистически сильнее, чем по Москве, а вместе с Москвой он тяготеет прежде всего к языку Западной и Юго-Западной Руси, Болгарии, Валахии, слабее к Сербии. Иногда язык Пскова отдельно от Москвы входит в один ареал с Польшей, Западной и Юго-Западной Русью. В то же время язык средневекового Пскова в целом статистически противопоставлен языку Чехии, Боснии, Дубровника. Выделенные выше зоны

во многом напоминают ареальное членение современных славянских диалектов, однако определение генетического тождества каждого из ареалов требует большой осторожности и самостоятельного рассмотрения. Сказанное свидетельствует также и о том, что любой преднамеренный поиск языковых диалектизмов, неологизмов или, наоборот, фактов лингвистической преемственности в том или ином средневековом тексте не может не учитывать всех тех ареальных и жапровых форм, в которых находится данный текст в отношении к другим древнеславянским текстам.

ЛИТЕРАТУРА

1. Толстой Н. И. Взаимоотношение локальных типов древнеславянского литературного языка позднего периода (вторая половина XVI—XVII вв.).— В кн.: Славянское языкознание. М., 1963, с. 230—271.
2. Герд А. С. О синхроническом описании языка древнеславянских центров письменности.— Вестник Ленинградского ун-та, 1986, № 1, с. 62—67.
3. Давидов А., Данчев Г., Дончева-Панайотова П. и др. Житие на Стефан Дечански от Григорий Цамблак. София, 1983, с. 42—55.
4. Давидов А. Езикът на Григорий Цамблак с оглед на неговата лексика.— В кн.: Търновска книжовна школа, 3. София, 1984, с. 207—219.
5. Герд А. С., Капорулина Л. В., Колесов В. В., Рускова М. П., Черепанова О. А. Именное склонение в славянских языках XI—XIV веков. Л., 1974.
6. Герд А. С., Капорулина Л. В., Колесов В. В., Рускова М. П., Черепанова О. А. Именное склонение в славянских языках XV—XVI веков. Л., 1977.
7. Герд А. С. Ареальная типология славянских текстов XV—XVI веков.— Советское славяноведение, 1982, № 5, с. 74—82.



ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Кишкин Л. С.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ КНИГИ О ПУШКИНЕ

В архиве Зденека Неедлы в Праге мое внимание привлекло письмо к нему Полпреда СССР в Чехословакии С. С. Александровского от 8 января 1937 г. В нем говорится:

«Культурный мир отмечает 10 февраля 1937 года столетие со дня смерти Александра Пушкина, который оказал влияние на литературное творчество не только славянских народов, но и на крупнейших поэтов всех народов.

Мне хотелось бы отметить годовщину великого Пушкина изданием небольшой чешской книжечки, в которой некоторые выдающиеся чехословацкие поэты, писатели и деятели искусств ответили на одной-двух страничках каждый по своему на один вопрос: чем является для них Пушкин. Так возникнет живая и современная, небольшая по размеру памятная публикация.

Сердечно приглашаю Вас к авторскому участию в этой книге. Представляю себе дело так, что Вы любезно примете у меня участие в дружеской литературной беседе о Пушкине. Если хотите, принесите с собой свою готовую рукопись. Можно поступить и иначе, Ваши высказывания запишет наша стенографистка. Только таким образом можно подготовить издание книги в короткий срок».

Как выяснилось, это начинание советского посла при содействии известных чешских литераторов П. Кржички, Ф. Галаса и Ф. Кубки было реализовано; так появилась книга «Вечный Пушкин» [1]. Теперь она стала библиографической редкостью. В книге 74 страницы, тираж 1000 экземпляров (в том числе 300 нумерованных). В издании приняли участие свыше 20 видных чехословацких писателей и деятелей культуры, среди них — И. Горак, Й. Чапек, К. Чапек, Ф. Галас, Й. Гора, Я. Есенский, Й. Копта, Я. Кратохвил, П. Кржичка, Ф. Кубка, Ф. Лангер, М. Майерова, Л. Новомеский, И. Ольбрахт, Ф. Таборский, В. Тилле, А. Тильшова, К. Томан и др. Все они прежде всего — представители прогрессивной чехословацкой интеллигенции, многие из которых, пережив войну и оккупацию, стали зачинателями и создателями новой культуры социалистической Чехословакии (З. Неедлы, Л. Новомеский, И. Ольбрахт, М. Майерова, Ф. Галас и др.).

За минувшие со дня гибели Пушкина 150 лет, особенно за последние десятилетия, рамки пушкиноведения существенно раздвинулись. Нас уже остро интересует не только творчество Пушкина само по себе, но и отношение к нему не только русской и советской общественности, но и зарубежной, о котором мы знаем, к сожалению, далеко не все. Поэтому книга «Вечный Пушкин», появившаяся незадолго до второй мировой войны, представляет особый интерес.

Сборник высказываний о русском поэте открывает статья известного чешского филолога, впоследствии посла Чехословакии в СССР акад. И. Горака «Наш столетний бой за Пушкина». Она начинается словами:

«Пушкин — первый русский поэт, произведения которого распространились далеко за пределами родного языка, стяжав русской словесности мировую славу». Далее в статье прослеживается столетняя, восходящая к 1830 г. история переводов Пушкина на чешский и словацкий языки. При этом Горак пишет: «На чехословацкой земле творчеству Пушкина была суждена важная миссия в процессе драматического развития нашей поэзии. Творец „Онегина“, основатель новой русской прозы был гением простоты. Он поднял на высокий поэтический уровень разговорный русский язык, облагородил его, однако сохранил в нем чары простоты и свежести. В этом он был для чехословацких поэтов долго недосыгаемым образцом, так как у нас долго не было сложившегося национального общества, являющегося необходимой основой для развития письменного языка». И далее: «Мощный подъем национальной жизни в сороковых годах, успехи всех славянских литератур дали нашей литературе обильные примеры из двух главных слагаемых творчества Пушкина: эпика и драма». В последующие десятилетия, как следует из статьи, достоянием широких кругов читателей станет и мастерски переведенная пушкинская лирика.

Страницы книги занимают разные по своему объему и характеру прозаические высказывания и суждения о Пушкине. Лишь один словацкий поэт Я. Есенский выступил здесь со стихотворением «Смерть Пушкина», завершающимся такими словами:

Он больше не умрет, он вновь и вновь родится,
Хотя бы был убит еще сто раз...

Приведем некоторые отрывки из высказываний чехословацких авторов.

К. Чапек: «Чем является для меня Пушкин? Прежде всего, естественно, просто поэтом, но это мое личное, как любовь, как очарование природой или радость от жизни; каждый поэт становится для читателя чем-то глубоко интимным, что в сущности нельзя определить и выразить.

В более широких литературных рамках Пушкин является для меня великим коррективом русского реализма. Этим я не хочу сказать, что было какое-то расхождение или противостояние между стихами Пушкина и, скажем, „Мертвыми душами“; однако там, где нас всех русский реализм учит видеть и наблюдать жизнь, познавать человека, и, страшно сказать, проникать в его душу, всегда за этим беспокойным образом жизни не перестает звучать сладкий и проникновенный, мелодичный и пьянящий голос поэзии: это Пушкин. Без Пушкина великой русской литературе нехватало бы еще одного бесконечного пространства, недоставало бы таинственного очарования, лирического контрапункта, музыкального созвучия или, как бы я сказал, гармонического согласия. Вся Русь — в ее реализме, вся русская душа — в Пушкине; и то, и другое в своей совокупности делает русскую литературу космической».

Ф. Галас: «Пушкин всегда был для меня поэтом, которому подвластно все, поэтом, охватывающим своим возвышенным жестом все человеческое, более того, всю землю, небо и пустоту вселенной. Стопы его антейских стихов всегда опираются на животворную землю, иначе они не были бы такими, какие есть. Автор „Онегина“ — поэт антично-целостный... Пыл, с которым он требует свободы для себя и для других — вот крылья его бессмертия. Оно было и есть с нами, чтобы огонь его великой поэзии согревал еще лишённые свободы сердца так же, как и сердца победно ликующие... Классический стих Пушкина облегает теперь небосвод веры и света над строительством нового мира».

Й. Гора: «Пушкин был прав, когда во второй главе „Онегина“ выразил надежду, что его поэзия „Быть может в Лете не потонет...“. Работая над переводом строф „Евгения Онегина“ на чешский язык, я живо почувствовал обоснованность надежды поэта. Поэма, взятая из общественной жизни, окружавшей поэта Пушкина, продолжает жить сама по себе. Она живет благодаря горячему и прозорливому пониманию поэтом вечных свойств жизни, живет силой своего поэтического слова и его звучания. Общественные отношения меняются и проходят, а волна человеческой мысли

бежит дальше. То, что было преходящим, то возместили интуиция и вечные символы поэта. В этом проявился тот особый дар истинного искусства, которое обращено к будущему. Есть в этом и революционные черты духа Пушкина, который в свое время создавал поэзию иной действительности, при отсутствии свободы он мечтал о свободе... В своих мыслях он освободил крепостных людей задолго до отмены крепостничества...».

Я. Кратохвил: «Пушкинский стих звучал для меня так естественно, струился так самопроизвольно и просто, прямо из сердца, всегда согретый чувством, как это бывает в обычных сердечных беседах между нами, простыми людьми...».

А сегодня Пушкин может быть для нас еще чем-то новым... „В наш жестокий век“ Пушкин является порукой победы духа над ограниченной и антикультурной „расовой теорией“».

П. Кржичка: «То, чему может учиться у Пушкина каждый простой человек, чем он может быть примером для всех нас, не только для художников и гениев, не только для Гоголя, Толстого и Достоевского,— это его человеческая ценность, его человеческая красота. Изучая его жизнь и творчество, постигая его личность, мы постоянно узнаем и убеждаемся, что рядом с нами — человек предельно правдивый, абсолютно чистый... Эта внутренняя чистота, эта внутренняя красота, это благородство пробиваются волшебным светом из каждой строчки, из каждого слова, которое написал Пушкин...».

А в наши дни для каждого мыслящего человека, для всякой страны Пушкин ценен вдвойне. Наше время беспокойное и трудное, полное одно-сторонностей, взаимного недоверия и нечеловеческой злобы... В этой темноте Пушкин горит как ясный и мудрый светоч. Он учит иному. Его поэзия широка, как сама жизнь. Слово эхо отзывается его лира па каждый голос жизни. Самой главной чертой его поэзии является человечность».

Ф. Лангер: «Благодаря Пушкину наш слух был подготовлен к восприятию всех позднейших русских поэтов. Едва ли бы мы услышали музыку поэзии Есенина, если бы не были подготовлены Пушкиным. Русский лиризм остался бы для нас неслышным за гигантской стеной русской прозы, а мы оказались бы лишены целого мира, заполненного красотой».

М. Майерова: «Я нашла в Пушкине поэта, который поведал мне о моем внутреннем мире».

Каждый молодой читатель однажды делает такое открытие. Смотри, вот кто-то чужой и далекий, никогда нас не знавший и не видевший, а говорит о нас и нам, говорит доверительно, несмотря на отдаленность его земли и лет, говорит так, что мы растеряны, однако очарованы, смущены, но тронуты. Мы слышали, конечно, что за закрытыми дверями нашего внутреннего мира что-то происходит, шум голосов, однако, был приглушен, шаги неуверенны, лица невидимы, поступки беспокойны. А тут пришел кто-то незнакомый и сильный, открыл те двери и сделал так, что мы увидели, что с нами происходит. Силой поэзии и ее правды он сделал так, что мы, до того беспомощные и неопытные, осознали себя и свою молодость...

Пушкин с „Евгением Онегиным“ пришел ко мне очень вовремя, чтобы сказать мне о моей молодости и объяснить, что поэзия — это правда. Есть в „Онегине“ строки, которые я после знакомства с ними повторяла тысячу раз и всегда передо мною как в каком-то зеркале вставал тот сезамовский образ самопознания».

Х. Малиржова: «Сто лет назад он умер, сегодня родился. Жил в своем столетии, но своим творчеством не дал прошлому стать прошлым, наградил его свойством бессмертия. Он, певец Пушкин и пророк Пушкин, доказал, что нет уходящего времени в отношении долголетия слова и жизни духа...».

Голос свыше ему повелел:

И обойди моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.

Он обошел и зажег».

З. Неядлы: «Сегодня мне кажется, что словно бы было два Пушкина.

Один был Пушкин нашей юности. Поэт „Онегина“, лирик любви и природы, великий рассказчик, каким мы его знали прежде...

Но вот пришла Октябрьская революция, а вместе с нею и иной, новый Пушкин. И по творческому материалу новый. Только теперь были опубликованы стихи, в которых Пушкин открыто выступал против царизма... И какие это стихи! Какой силы и какого глубокого сочувствия угнетенным!...

Образ Пушкина предстает передо мной теперь иначе, чем четверть столетия назад. И значение его кажется иным, несравненно более широким, человеческим и потому более мощным, нежели раньше, а смысл его поэзии тоже видится значительно более богатым и важным. Это уже не просто лирик, а гений безграничных возможностей, многогранных до необъятности, такой силы, которой обладают лишь великие борцы — таким встает предо мною этот новый Пушкин.

И потому он — поэт новой советской культуры. Он не только символ и живой элемент этой молодой, новой, свежей, радостной культуры. Он — ее самый великий и самый любимый поэт».

Л. Новомеский: «...Влияние и импульсы Пушкина во всей нашей поэзии были благотворными, особенно в „Марине“ Сладковича...»

Надо быть благодарным этому великолепному советскому и всемирному году, который в свете нашего времени раскрывает все богатство и прогрессивный дух творчества Пушкина».

И. Ольбрахт: «...Сегодня, как и сто лет назад, мы не можем лишь в потрясающем удивлении стоять перед явлением Пушкина, перед явлением поэта и гения, и быть благодарными ему за все, что он нам дал и дает, и неблагодарно забывать о том, что все это стало нашим и живет в нас. Сегодня, как и сто лет назад, мы низко склоняем перед ним свою голову».

Ф. Таборский: «Веселый лицеист Пушкин еще в 1815 году написал эпитафию:

Здесь Пушкин погребен; он с Музой молодою,
С любовью, ленью провел веселый век,
Не делал доброго, однако ж был душою,
Ей богу, добрый человек.

Это добро в нем росло, он это чувствовал, другие его еще не чувствовали, ни его ростков, ни его побегов. Такой человек бывает необычайно чуток и справедлив. Кривду и ложь он отвергает. Отверг их и Пушкин... Он верил, что Русь пробудится и на обломках самовластья напишет и его имя...

Как представлял он свободу? Он видел ее просвещенной и человеческой... Поэтому нам, любящим свободу, издавна окруженным врагами, которые заставляют нас быть жизнестойкими и бдительными, Пушкин так несказанно дорог».

А. М. Тильшова: «Я могла бы признаться в глубокой любви ко всей литературе русской от ее великих прозаиков Гоголя и Достоевского, от Пушкина и творца печального „Демона“ до Блока, Маяковского и дальше. Однако должна по правде сказать, что Пушкин был первым поэтом, который очаровал меня красотой русской поэзии. Это был мой Пушкин. Это были единственные на всем свете мои книжки».

К. Томан: «Пушкина знаю по переводам, однако при чтении не ощущалось, что это не оригинал. Жизненная содержательность при ясном и простом выражении увлекает и чарует. Как же современен этот поэт, хотя после его смерти и прошло сто лет. И хотя его стихи наполнены интимной болью или протестом, они пропитаны той волшебной властью, которая является таинственной основой народной поэзии. Пушкин добр, как хлеб... Он любил Россию и никому не льстил. Его стихи и сегодня заставляют содрогаться и волноваться, так пророчески видел он будущее. Не одно только поэтическое благородство очаровывает читателя. Наверно каждый из нас видит и любит именно ту великую Россию, которую запечатлел Пушкин в своем слове: ведь он в „жестокий век восславил... свободу и милость к падшим призывал“».

Мы привели лишь часть суждений выдающихся деятелей чешской и словацкой культуры о Пушкине. Они были высказаны пятьдесят лет назад, но не утратили своего значения: в жизни каждого из участников книги «Вечный Пушкин» русский поэт сыграл свою особую роль. Однако есть в них и нечто общее — все они свидетельствуют о большой любви к Пушкину в предвоенной Чехословакии, о серьезном, обстоятельном знании его творчества. А еще они позволяют почувствовать, сколь велика была тогда роль русского поэта в духовной жизни Чехии и Словакии. С какой чуткостью и остротой воспринимались в конце 30-х годов его свободолюбие и гуманизм.

Думается, все это делает интересной книгу «Вечный Пушкин» и сегодня, когда мы отмечаем столетие со дня кончины нашего великого поэта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Věčný Puškin. Praha, 1937, 74 s.



ОТНОШЕНИЕ ЯНА НЕРУДЫ К ФРАНТИШЕКУ ПАЛАЦКОМУ

Ярким примером глубоких творческих связей является отношение чешских литераторов к гиганту чешской историографии Палацкому, который вдохновлял не только создателей исторической чешской прозы, но и многих поэтов.

Контакты Неруды и Палацкого не подтверждаются документально, не отражены в корреспонденции, однако прослеживаются в его поэтическом творчестве. Эти два человека были различны и по складу характера, и в психологическом плане. Один родился в моравской деревне, в евангелической семье, другой был сыном отставного солдата — мелкого торговца и служанки, ревностной католички. Ф. Палацкий был старше Я. Неруды на тридцать шесть лет, он тяготел к науке, отдав дань поэзии лишь в начале своего творческого пути; Ян Неруда работал журналистом, писал стихи, прозаические «картины жизни» (так назывался и один из журналов, который редактировался Нерудой), размышлял о роли народа и отдельной личности в истории. Интересно, что для поэтического творчества Неруды характерно совершенствование качества и углубление содержательности. Эта неизменная тенденция прослеживается от сборника к сборнику, становясь особенно очевидной благодаря многолетним интервалам между ними. Исключение составляет 1883 г., когда Неруда в связи со своим приближавшимся шестидесятилетием издал сразу две книги — «Простые мотивы» и «Баллады и романсы», которые воспевали самоотверженность и патриотизм чешского народа, ярко проявившийся, в частности, в годы строительства Национального театра. (Строительство Национального театра, пожар и возведение нового здания вдохновили и других художников — например, Й. В. Сладека, посвятившего этой теме стихотворение «Народ» из сборника «На пороге рая» (1883).)

Палацкий получил прекрасное образование и воспитание, уже в молодости блистал в аристократических салонах на родине и за границей, а нищенствовавший Неруда получил в обществе пренебрежительное прозвище «босяк» (dagebák) (которым даже гордился). Он не был женат, а Палацкий выгодной женитьбой обеспечил себе спокойное существование и возможность сосредоточиться на науке, пользоваться в своих научных занятиях архивами и библиотеками Венеции, Флоренции, Милана, Рима, Вены, Дрездена, Мюнхена, Берлина, Парижа, Будапешта, Иены.

Оба начали публиковаться на немецком языке, а в 50-е годы выполняли общественную роль борцов с баховской реакцией. Каждый из них выступал в своем жанре и стиле: Палацкий в «Истории» позитивно изображал и оценивал гусиам, Неруда описывал в газетах трагедии повседневного существования человека, едко критиковал социальную несправедливость в стихах сборника «Кладбищенские цветы». Следует отметить, однако, что их общественную гражданскую функцию не поняли даже

передовые люди эпохи, в том числе Палацкий, который сомневался в нерудовском поэтическом таланте. Палацкий тогда не мог предположить, что Неруда станет его горячим поклонником, черпающим в его творчестве вдохновение. Этот процесс сближения начал проявляться с начала 60-х годов, когда в связи с обновлением правовой и государственной жизни ожили воспоминания о гуситской славе и стремление искупить позор Белой горы, восстановив права чешского королевства. Об этом ярко свидетельствуют и «таборы», демонстрации, объединявшие десятки тысяч участников и ставшие особенно активными после провозглашения дуализма в 1867 г. Атмосфера национального унижения и одновременно подьем национального самосознания постепенно создавали предпосылки для сближения различных индивидуальностей, в том числе Я. Неруды и Ф. Палацкого. Оба болели душой за будущее нации и за объединение всех сил, которые могли бы поддержать национально-освободительные устремления и борьбу. Оба испытывали чувство гордости за всплеск национальной энергии в гуситскую эпоху и горькое сожаление по поводу неудач и провалов политики пассивной оппозиции в 70—80-е годы. Жертвы чешского народа в эпоху гуситского движения и революции 1848 г. Неруда трактовал как жертвы за свободу всего человечества. Исторические судьбы чехов и проигранные политические кампании пробуждали в нем глубокую горечь. Это чувство Неруда считал одним из основных черт национального характера, что было им выражено в стихотворении «В земле чаши» (вышло в журнале «Кветы» в 1882 г.). Слово «горечь» — в 14 различных вариантах выступает здесь эмоциональным лейтмотивом. Обращение к народной легенде в стихотворении «В земле чаши» связывает его со сборником «Баллады и романсы», а присущий ему пафос характерен и для сборника «Песни страстной пятницы». Между обеими книгами существует тесная идейная близость, обе выражают безграничную любовь поэта к родной земле и народу. В связи с темой статьи особенно важна последняя, заключительная строфа стихотворения «В земле чаши»:

И где ж возникнуть ей, легенде давних пор,
Как не на той земле, где дни ночей не краше,
В краю, что окружен стенами гор,
Подобно каменной глубокой чаше!

(Перевод В. Звягинцевой)

Географические особенности Чехии, окруженной со всех сторон горами, подсказали Неруде образ чаши, в котором был сложный тройной смысл: горная чаша, чаша гуситов и чаша страдания.

Очень вероятно, что поэта вдохновила на создание этого стихотворения «История чешского народа в Чехии и в Моравии» Палацкого. В этой книге Палацкий ярко, поэтически вдохновенно обрисовал географические природные особенности земли — той сцены, на которой разыгрывалась история народа, в которой чередовались надежды и угрозы смерти и уничтожения. Введение к «Истории» Палацкого замечательно будительским пафосом национального возрождения. В работе дважды встречается словесное сочетание «горный венец» (Чехия самой природой окружена со всех сторон горным венцом, как естественной каменной стеной). У Неруды — подобный же образ «земли чаши». Во введении к «Истории» Палацкого прославляется красота чешской равнины, ее «горного венца», благородство народа. Подобные представления лежали в основе идеологии национального возрождения, что отразилось и в песне Й. К. Тыла «Где моя родина?» («нежная душа в бодром теле, мысль ясная, упорство и успех, вот силы, которые побеждают»). У Палацкого это сформулировано сходным образом: «воспитание человека здорового духом и телом, бодрого и деятельного».

Из обширного введения к «Истории» Палацкого процитируем хотя бы один следующий абзац: «...большое разнообразие, как в ландшафте, так и в полезных ископаемых нашей земли благотворно влияет на тело и душу каждого ее жителя. И хотя никакие разнообразные богатства

не падают сами в его руки, все же труд его никогда не бывает без щедрой отдачи; да, природа, вложившая в лоно этой земли многочисленные и богатые дары недр земных и лечебных вод и отказавшая ей в соли, этой насущной потребности нашего каждодневного бытия, казалось, этим обстоятельством хочет побудить Чехию к промышленной активности и торговле с соседями».

Можно усмотреть определенную связь «Введения» со стихотворением Я. Неруды «Только вперед!», в котором поэт как бы домысливает слова Палацкого о многочисленных и богатых дарах земных недр, трактуя их в смысле воинской и духовной доблести: «В стране железа всё оружием станет, в крови железо зазвучит: „Вперед!“» (перевод Н. Асеева).

Настроение всего стихотворения «Только вперед!» (оно было опубликовано в праздничном номере газеты «Народни листы» 1 января 1886 г. в качестве поэтического введения) тесно связано с самим духом труда Палацкого, философия истории которого опиралась на высокую оценку значения идейных течений («...жизнь без идей всегда неподвижна и не заслуживает того, чтобы о ней повествовали»), на веру в победу духа над физической силой и жестокостью. Эти идеи вдохновляли будительское, национально-освободительное движение: «Слабый погибал под напором сильного, а сильный подчинялся сильнейшему; однако сила духа и нравственная сила в конце концов одерживали победу над силой физической».

Заключительное стихотворение сборника «Песни страстной пятницы» «Только вперед!» является не только вершиной всего сборника (который после смерти Неруды составил поэт Врхлицкий), но и прямым завещанием. Неруда начинает историческими реминисценциями («...мы родились под бури грохотанье...») и так подчеркивает содержание и смысл истории Чехии:

За вольность человеку, что когда-то
Здесь расцвела, как встарь стоит народ,
Мы гибли за нее, но верим свято:
Она прославит нас, ведя вперед!

(Перевод Н. Асеева)

В этих строках мы чувствуем мысль Палацкого. Стихотворение обращено и к настоящему и к будущему, однако поэт не может не вспоминать о боевой гуситской славе («гуситский гимн иной размах возьмет»). Нерудовская программа активного оптимизма не утратила своего значения и в нашу социалистическую эпоху. Неруда был ее гениальным предтечей.

Первое стихотворение сборника «Песни страстной пятницы» озаглавлено строкой из К. Гавличека Боровского «Мой цвет красный и белый». Оно было предназначено для готовящегося «табора» по случаю открытия памятника К. Гавличеку в Кутной Горе 26 августа 1883 г., в котором участвовало 50 тыс. человек. В этот же день текст был опубликован в газете «Народные листы». Неруда уже и ранее отдал дань памяти своего предшественника в двух стихотворениях — «Балладе о душе Карела Гавличека Боровского», которая вышла в мае 1882 г. в газете «Шванда дудак», и в стихотворении «Карелу Гавличеку Боровскому» (к юбилею поэта), опубликованном в газете «Глас» 19 августа 1862 г.

«Мой цвет красный и белый» синтезирует в поэтической формуле весь характер чешской истории, который, как нам кажется, воссоздан на основании исторических трудов Палацкого — очевидно, в тексте Неруда кратко называет именно этот источник вдохновения «своей дорогой хроникой»:

Нет, то не просто флаг — то летопись народа:
Раскроешь хроники — темнеют строк фаланги,
Одни из них звучат фанфарным гимном,
В других мрачнееет облик небосвода,
Как будто бы одни писал небесный ангел,
Другие — злобный дьявол в пекле.
На этот стяг похож народ страны моей.

(Перевод В. Луговского)

Поэтический сборник Неруды «Песни страстной пятницы» трудно себе представить вне связи с увлечением «Историей» Палацкого. Когда, од-

нако, началось это увлечение, переросшее впоследствии в глубокое восхищение «дорогой хроникой»?

В конце июня 1861 г. Ян Неруда побывал в качестве репортера в Вене с заданием освещать заседания австрийского парламента. Его репортажи, датированные 20, 25, 26 и 27 июня 1861 г., были опубликованы в еженедельнике «Час». Уже в первом из них он отмечает, что в имперском сейме заседает Ф. Палацкий, приехавший послушать главного чешского оратора своего зятя Ф. Л. Ригера. Неруда видел, что политическая концепция Ригера опирается на историческую концепцию Палацкого, и они оба — Палацкий и Ригер, едины в вопросах борьбы за государственное право и национальную свободу (Ф. Л. Ригер лишь после политического поражения в борьбе стал приверженцем политики пассивной оппозиции). Устами Ригера собственно, высказывался и великий будитель и глашатай идеи чешско-моравского единства Палацкий. Речь Ригера захватила Неруду, поэтому, заключая свой первый репортаж, он писал: «Больше всего в речи Ригера мне понравились пассажи, где он говорил о страданиях нашего народа, о нашей истории и борьбе за идеи религиозного и политического равноправия. Здесь была подлинная правда, огонь и захватывающая сила» [1].

Еще одно событие из жизни Палацкого должно было взволновать Неруду: это завершение его монументальной «Истории» и празднование по случаю окончания этого труда, этого завещания нации, происшедшее 23 марта 1876 г. Здесь Палацкий выступал в последний раз перед публикой — он умер 26 мая этого же года. Свою политическую концепцию Палацкий изложил в послесловии в сборнике «Радгост» (1872) (немецкое издание «Gedenkblätter», 1884). В 1917 г. эти работы были изданы под названием «Последние слова Франтишека Палацкого», а в 1928 г. — под названием «Политическое завещание Франтишека Палацкого».

Историки литературы характеризовали эти поздние выступления ученого как «прощальные». Празднование завершения «Истории», наиболее значительного произведения эпохи чешского национального возрождения, этого синтеза науки и искусства, безусловно, оказало огромное влияние на представителей многих искусств, по достоинству оценивших творческую вдохновенность и активность Палацкого, давшего высокий образец завершенности труда всей жизни.

Среди тех, кто с восхищением наблюдал за удачным композиционным завершением этого огромного труда, первые наброски которого, написанные еще по-немецки, можно датировать 1836 г., не могло не быть репортера и поэта Яна Неруды. Его творчество в сравнении с творчеством Палацкого развивалось в нескольких направлениях, выражаясь в разных жанрах. Его поэтические сборники обладали продуманной, изысканной композиционной стройностью. Он проявлял способность к самокритической оценке своего достаточно обширного творчества и безусловно понимал, что главное значение его творческого наследия будет заключаться не в критике, драматургии, новеллистике или журналистике, но в поэзии. Именно к своей поэзии он относился с особым вниманием, готовя свои «прощальные слова», свое поэтическое завещание.

Уже в «Простых мотивах» (1883) наброски этого завещания можно увидеть и в автопортретах, и в картинах чешской природы, и в воззрениях на жизнь и на смерть; позже — в «Балладах и романах», где речь шла о любви к народу и к свободе. Однако подлинной вершиной, завещанием должны были стать «Песни страстной пятницы». Уже само название этих стихов говорит о том, что поэт волнует настоящее и будущее всего чешского народа. Неруда смог создать десять стихотворений, которые стали для чехов неким подобием библейских десяти заповедей («Мой цвет красный и белый», «Ангел-хранитель», «Мать семиболестная», «Ессе homo», «В земле чаши», «Рождественская колыбельная», «Вслед за сердцем», «Любовь», «По стопам льва», «Только вперед!»). Они публиковались в чешских журналах и газетах в 1881—1887 гг. и были отмечены пафосом таборов и строительства Национального театра.

Стремление Неруды стать во главе политического движения особенно ясно проявляется в двух автостилизациях, из которых первая выступает в скрытом виде («За сердцем героя», сборник «Книги стихов», 1867), тогда как вторая («Вслед за сердцем!», сборник «Песни страстной пятницы») совершенно очевидна.

В послесловии к сборнику фельетонов «Чешское общество» обращает на себя внимание одно важное обстоятельство: на торжестве заложения фундамента Национального театра Неруда испытывал горькое сожаление о том, что ему не было дано встать рядом со славными мужами отечества (Палацкий, Ригер, Сметана и др.) и принять непосредственное участие в этом торжественном акте. Свое разочарование и свои мечты он полупуштя-полусерьезно выразил в фельетоне, посвященном этому событию и построенном на мастерской игре слов: *drobný kler = rokler na základní kámen*.

Первоначальная автостилизация «под шалопаю», «босьяка» постепенно уступала место роли народного трибуна. Ян Неруда действительно занял ведущее место в культурной жизни нации, причем можно полагать, что во всех начинаниях его вдохновляло и обогащало творчество Франтишка Палацкого.

ЛИТЕРАТУРА

1. Spisy Jana Nerudy, sv. 21. K vyd. přípr. J. Polák. Praha, 1951.



ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Социальная структура и политические движения в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: Межвоенный период, М., 1986, 245 с.

В рецензируемый сборник вошли статьи ученых НРБ, ВНР, ПНР, СССР и ЧССР, подготовленные на базе докладов, которые были представлены на международный симпозиум в Софии в мае 1984 г., проводившийся в соответствии с планом реализации соответствующего целевого проекта Долгосрочной программы многостороннего сотрудничества социалистических стран в области общественных наук (редакционная коллегия сборника: Д. Боршаньи, В. Василев, Р. Война, Й. Гарна, А. Х. Клеванский, И. И. Костюшко. Ответственный редактор А. Х. Клеванский). По существу, эта книга является продолжением исследования комплекса проблем, отраженного в тематическом сборнике статей советских ученых, изданном двумя годами ранее [1].

Во введении отмечено, что в сборнике ставятся и решаются три группы проблем (с. 6): характер и динамика социально-классовых структур в отдельных государствах региона (но не в его частях, как это указывается во введении); характеристика классов и социальных слоев; формы политической организации и представительства отдельных классов, слоев и групп, их лагеря, блоки и коалиции, социальная база на разных этапах в рамках межвоенного двадцатилетия. Надо отметить, что некоторые авторы затрагивают не одну, а две, а в отдельных случаях и все названные проблемы. Статьи Э. Дейла, И. И. Прокоповой, К. Мапчева, ставя важные и интересные сами по себе вопросы (социальная политика правительства Чехословакии и Польши, государственно-политическая структура балканских стран), по нашему мнению, несколько выходят за пределы тематики сборника.

Исследования, опубликованные в книге, свидетельствуют, что активно проводимая в последние 10—15 лет комплексная разработка проблем социального и

политического развития стран Центральной и Юго-Восточной Европы между мировыми войнами успешно продолжается советскими специалистами и зарубежными коллегами. Ряд авторов известны своими предыдущими публикациями либо непосредственно по тем вопросам, которые они здесь решают, либо по смежной проблематике. Сам характер статей различен. Часть из них основана на важных первоисточниках, содержит значительный новый материал, позволяющий сформулировать важные выводы (А. И. Пушкин, Ж. Надь, М. М. Сумарокова, Й. Гарна, Г. Ф. Матвеев, С. Радулов, И. И. Прокопова). Другие статьи привлекают внимание глубоко аналитическим рассмотрением, часто под новым углом зрения уже исследовавшихся вопросов (Я. Жарновский, Р. П. Гришина, М. Лацко, В. Межецкий, Э. Дейл, А. Айненкель, М. Д. Ерещенко, А. Х. Клеванский, И. В. Михутина, В. Ф. Кадацкий). Некоторые авторы, в частности Я. Жарновский, представили серьезные историографические разработки. Наконец, встречаются статьи, в которых подытоживается изучение проблемы (Д. Петрова) или же в общей форме ставятся вопросы, требующие детального и углубленного анализа (П. Шипош, К. Манчев, М. Ормош и М. Инце).

Весьма интересны наблюдения и выводы исследователей относительно особенностей социальной структуры в государствах региона. Своеобразным введением к этой проблематике является работа Я. Жарновского о методологических проблемах и историографии социального состава польского общества. Автор ставит вопросы о комплексном подходе к этой проблеме, о разных аспектах структуры, обоснованно полагая, что, наряду с ведущей ролью классовой дифференциации, следует учитывать такие моменты дифференциации, как социальные слои, иерар-

хия престижа, образование и др. С этой точки зрения оценивается опыт исследования по истории польского общества 1918—1939 гг. Определяя задачи дальнейшего изучения социальной структуры буржуазной Польши, Я. Жарновский подчеркивает необходимость показать ее влияние на экономическое и политическое развитие страны. Посвятив статью особенностям социальной структуры и политического развития межвоенной Болгарии, Р. П. Грипина уделила наибольшее внимание элементам государственно-монополистического капитализма, в создании которых основная роль принадлежала государству. Плодотворным представляется ее вывод о том, что при узости социально-политической базы монархо-фашистского режима и отсутствии прочной международной поддержки он опирался на государственно-монополистические формы как на главный стабилизирующий фактор. Весьма важный вопрос социальной структуры Венгрии 1919—1941 гг. — обострение ее внутренних противоречий — рассматривается в статье М. Лацко. Речь идет о сложных проблемах борьбы между различными слоями и прослойками промышленной и аграрной буржуазии, средних слоев. Основным же было противоречие между трудом и капиталом. Автор пришел к обоснованному выводу, что рабочий класс стал важной силой, на его позиции сказывались как особенности развития капитализма, так и влияние контрреволюционного режима. К данной группе статей примыкает работа М. Д. Ерещенко о соотношении социально-экономического развития и политической стабильности в буржуазной Румынии. Здесь прослежен переход правящих кругов страны от «политики развития» (создания устойчивых структур и институтов) к «политике порядка» (все большему подавлению оппозиционных сил, усилению авторитарного правления).

Немало нового содержат статьи, посвященные отдельным классам и слоям стран региона. Речь идет о рабочем классе Польши (В. Межецкий) и Венгрии (П. Шипош), венгерском крестьянстве (А. И. Пушкаш), венгерских мелких ремесленниках и торговцах (Ж. Надь). Если В. Межецкий уделяет основное внимание факторам, определявшим политические позиции польского рабочего класса, по-разному действовавшим на различных этапах и в отдельных регионах, то П. Шипош анализирует динамику численности промышленных рабочих Венгрии, их состав по отраслям производства, их положение и,

что особенно интересно, образ жизни. В статье А. И. Пушкаша рассматривается социальная дифференциация венгерского крестьянства и позиции политических партий страны в крестьянском вопросе, а также говорится об обеспокоенности правящих кругов положением в сельском хозяйстве, их попытках помешать выступлениям крестьянской бедноты. Анализируя категории мелких ремесленников и торговцев Венгрии, Ж. Надь, к сожалению, не дает четкого определения этих категорий. Почему все же к числу «мелких» следует относить тех, кто имел не более трех работников (с. 92), остается не ясным.

В подавляющем большинстве включенных в сборник статей рассматриваются разнообразные вопросы политических движений в регионе, в его частях и отдельных странах. Впрочем, региону в целом посвящена лишь работа И. В. Михутиной о социальном характере и социальных аспектах программ и деятельности крестьянских партий. Автор выявляет социальные цели крестьянских движений, социальные моменты в идейно-политическом облике крестьянских партий и прослеживает их общие или сходные черты и особенности применительно к отдельным странам, стремление буржуазии разными путями подорвать роль и влияние таких партий. Следует поддержать призыв исследователя специально рассмотреть отдельные варианты идейно-политической и организационной эволюции крестьянских партий региона. К данной работе примыкают статьи А. Айненкеля и Д. Петровой. Содержание первой из них несколько уже заголовка, ибо речь идет не о польском крестьянстве вообще, а о его политических организациях. Приведены данные о крайне сложном и противоречивом «людовском движении», включавшем в себя как политические партии и молодежные организации, так и всевозможные хозяйственные и культурно-просветительные объединения, в той или иной степени с ними связанные. Во второй статье дан краткий обзор развития Болгарского земледельческого народного союза между мировыми войнами. Речь идет о программе этой партии, принятой в 1919 г., и попытках ее реализации в следующие годы, о внутренней борьбе в БЗНС, многочисленных расколах и перегруппировках в нем, о его месте в буржуазной политической системе. Обоснованным представляется вывод автора о том, что политическая практика БЗНС часто выходила за рамки его идео-

логии и программы и была более прогрессивной.

И. Гарна посвятил свою статью партии реформистского характера — Чехословацкой социал-демократической рабочей партии — на протяжении всего межвоенного периода. Он проследил в основном роль этой партии в политической системе страны, с разной степенью подробности осветив отдельные этапы (им выделены пять этапов, но представляется, что единых критериев такой периодизации автор не выработал, что делает саму эту конструкцию уязвимой).

Несколько работ связаны с характеристикой буржуазных политических сил и буржуазных режимов в отдельных странах. М. М. Сумарокова рассмотрела кризис парламентарной системы в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. Она привела весьма интересные фактические данные, сделала наблюдения над отдельными элементами и фазами этого кризиса, проявлявшегося во все более доминирующей позиции исполнительной власти в ущерб законодательной и приведшего в конце концов к установлению диктаторского королевского режима в начале 1929 г. Исследование А. Х. Клеванского содержит важные выводы о структуре, динамике и характере коалиций правящих партий в Чехословакии как важнейшем компоненте существовавшей политической системы. При различных модификациях эти блоки — неустойчивые и внутренние противоречивые объединения — стремились к увековечению существовавшего общественного порядка. Более узкому в тематическом и хронологическом отношении вопросу — организационной структуре польской национальной демократии в 1919—1926 гг. (Народно-национального союза и других входивших в нее организаций, в частности молодежных) как лагеря правых политических сил посвящена статья Г. Ф. Матвеева, который показал разветвленную сеть эмиграции до государственного переворота 1926 г. М. Ормон и М. Инде поставили вопрос о социальной базе фашизма в странах Дунайского бассейна, отметив, что к фашизму здесь склонялись те группы средних слоев и мелкой буржуазии, положение которых было наиболее неустойчивым. Думается, однако, что в данном контексте следует вести речь не о социальной базе фашизма, а о поддержке его определенными общественными кругами. Ин-

тересные, хотя и не вполне бесспорные разграничения двух обособленных течений в болгарском фашизме — связанного с партийно-политическими кругами и происходившего из офицерской среды — провел С. Радулов. Представляется, что грани между этими течениями были значительно более зыбкими, нежели полагает автор. В. Ф. Кадацкий проанализировал расстановку политических сил в Болгарии первой половины 30-х годов, приведшую вначале к приходу к власти коалиции нефашистских буржуазных и мелкобуржуазных партий, а через три года — к новому военно-фашистскому перевороту.

Уже были отмечены некоторые недостатки аргументированные или спорные положения в отдельных статьях этого весьма ценного сборника, подготовленного высококвалифицированными авторами. Помимо уже высказанных замечаний, считаем целесообразным обратить внимание, что краткость статей при широких замыслах авторов привела в ряде случаев к недоговоренностям, конспективности. Из встречающихся мелких неточностей укажем лишь на фактические и оценочные расхождения в преподнесении одного и того же материала разными авторами. Так, А. Х. Клеванский писал, что Чехословацкая социал-демократическая рабочая партия собрала на выборах 1920 г. около 26% голосов (с. 130), а И. Гарна увеличил их долю до 28% (с. 141). Вызывают недоумение кавычки в понятии «левые» сектанты. Эти кавычки уходят своими корнями еще в политические оценки второй половины 30-х годов и в научной литературе от них давно пора отказаться.

Сборник статей историков братских социалистических стран вносит существенный вклад в разработку проблем социально-экономического и политического развития Центральной и Юго-Восточной Европы в новейший период. Его появление свидетельствует о плодотворности многостороннего научного сотрудничества, осуществляемого в области исторической науки.

Черныашский Г. И.

ЛИТЕРАТУРА

1. Проблемы истории кризиса буржуазного политического строя: Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в межвоенный период. М., 1984, 296 с.

В последние годы неуклонное расширение сотрудничества с европейскими странами в области славяноведения и балканистики все чаще сопровождается успешной кооперацией и в сфере информационно-библиографической деятельности. Значительный вклад в это вносят Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН АН СССР) и Всесоюзная государственная библиотека иностранной литературы (ВГБИЛ). Новейшим подтверждением сказанного и является рецензируемый справочник, представляющий значительный интерес не только для литературоведов, но и для историков и историков культуры.

Общезвестно, что Я. Неруда давно и прочно занял место в чешской классической литературе XIX в. как ее наиболее яркий, талантливый и многосторонний представитель. С полным основанием старейший советский литературовед А. В. Чичерин свой доклад на V международном съезде славистов в 1963 г. назвал «Нерудовский этап в истории критического реализма». Но Я. Неруда был не только писателем и критиком, но и выдающимся общественным деятелем второй половины XIX в. С самого начала своего творческого пути заняв в рядах чешского национально-освободительного движения тех десятилетий демократические позиции, он на склоне жизни приветствовал пролетарское революционное движение, а в очерке «Первое мая 1890 года» проникновенно писал о рабочих как борцах за достижение «величественной цели человечества». И многие страницы наследия Я. Неруды — прозаика, поэта, переводчика, критика, публициста, видного организатора чешской культурной жизни — с точки зрения его вклада не только в литературу, но и в общественную мысль до сих пор еще полностью не прочитаны. В силу этого собранные в биобиблиографическом указателе материалы могут представить практический интерес для достаточно широкого круга славистов, прежде всего, богемистов.

Указатель подготовлен И. А. Шмельковой (ВГБИЛ) и П. Поглей (пражская Государственная библиотека), ответственный редактор — А. П. Соловьева — одна из ведущих советских исследователей жизни и творчества Я. Неруды, автор получившей положительную оценку в печати монографии «Ян Неруда и утверждение реализма в чешской литера-

туре» (1973). Рецензируемый труд не только организационно, но и по композиции имеет двусторонний характер и состоит из «чешской» и «русской» частей. Принципы построения и особенности отбора материала в каждой из этих частей сформулированы в двуязычном предисловии «От составителей». Здесь подчеркнут давний интерес русской общественности к творчеству Неруды: «Еще при жизни писателя появляются переводы его рассказов и стихотворений в петербургских и московских периодических изданиях. Первая известная нам публикация произведения Я. Неруды на русском языке появилась в 1867 г. в „Записках для чтения“, где был помещен рассказ „Он был негодием!“ Первые, обнаруженные составителями упоминания о Я. Неруде относятся к 1860 г.» (с. 5—6).

Основная справочная часть указателя открывается хроникальным разделом «Основные даты жизни и творчества Яна Неруды» (с. 12—20 на русском языке, с. 21—28 — на чешском). Наибольший интерес представляют разделы, содержащие библиографию изданий сочинений Я. Неруды на языке оригинала (с. 31—61) и в переводах на русский и языки других народов СССР (с. 101—126), а также литературы о нем, изданной в ЧССР и СССР (с. 62—100, 127—145). Те и другие сведения даны по состоянию на 1981 г. включительно.

Составители выбрали хронологический порядок расположения библиографических описаний, что помогает наглядно представить историю издания сочинений Яна Неруды и литературы о нем. При этом описания изданий его сочинений на чешском языке дополнительно разделены по рубрикам: «Собрания сочинений», «Избранные сочинения», «Сборники и отдельные произведения», «Письма».

Следует, однако, учитывать, что принципы отбора литературы в чешской и русской частях указателя различны. Это специально оговаривается в предисловии: «В разделах, подготовленных Государственной библиотекой ЧСР, материал представлен выборочно. Раздел „Издания произведений Яна Неруды на чешском языке“ включает записи о собраниях сочинений, избранных произведениях, сборниках и первых книжных изданиях произведений писателя. Из последующих многочисленных переизданий отображены, главным образом, те, которые вышли при

жизни Я. Неруды и были изданы в ЧССР в последние годы» (с. 6). Что касается литературы о нем, то чешская сторона приводит сведения лишь о наиболее важных публикациях. Такой подход, принимая во внимание не только обилие изданий сочинений Я. Неруды на чешском языке и литературы о нем в чехословацкой печати, но и существование детальных справочников, представляется в данном случае вполне оправданным. Наоборот, верудовские материалы на русском языке и языках других народов СССР представлены в указателе с максимальной полнотой: «Материалы этих разделов, выявленные путем изучения библиографических источников и сплошного просмотра основных периодических изданий XIX и XX вв., собраны в данном указателе впервые и все проверены „де визу“» (с. 7).

Рассматриваемый советско-чехословацкий библиографический указатель имеет и большое источниковедческое значение: собранные в нем данные, особенно в «русской» части, позволяют применить статистические методы исследования, которые дают возможность глубже и полнее представить динамику выпуска как переводов Я. Неруды в дореволюционный и советский период, так и литературы о нем с 1860 по 1981 гг. Не менее любопытна и география их распространения, на что с полным основанием обращено внимание в предисловии: «Интересно отметить, что в начале XX в. переводы произведений писателя и статьи о нем печатались не только в столичных газетах и журналах, но и в периодических изданиях Киева, Воронежа, Витебска, Смоленска, Оренбурга, Харькова, Астрахани и т. д.» (с. 6). В Советском Союзе этот процесс существенно усилился и привел к появлению обширной

литературы о Я. Неруде, а также к изданию переводов его сочинений не только на русском, но и на других языках народов нашей страны. Все это отражает качественные сдвиги, произошедшие в культуре и литературе советского периода, но в равной мере и упрочение советско-чехословацких культурных связей.

Библиографические материалы, включенные в указатель, полезны также и для истории отечественной славистики, особенно дореволюционной, поскольку многие работы того времени лишь содержали упоминания о Я. Неруде, представляя собой более общие обзоры или очерки чешской, а в некоторых случаях и славянских, в целом литератур. Так, наряду с такими известными работами, как «Обзор истории славянских литератур» А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича (№ 878, расшир. переизд. № 884), в указателе зарегистрированы статьи из «Огонька» (№ 885), «Века» (№ 886), «Исторического вестника» (№ 900) и других периодических изданий, к которым слависты обращаются редко. Поэтому «русскую» часть указателя можно рассматривать и как подспорье при выявлении сведений по историографии литературоведческой славистики. Значительную помощь всем, обратившимся к справочнику, окажут вспомогательные указатели: главней произведений Я. Неруды и их переводов, именные указатели на чешском, словацком и русском языках.

Выпуск тщательно составленного библиографического указателя, посвященного жизни и творчеству Я. Неруды — значительное достижение советской и чехословацкой славистической библиографии и хороший пример плодотворности сотрудничества специалистов СССР и ЧССР.

Мильников А. С.

V šírom poli rokyta. Slovenské ľudové balady, romance a novelistické piesne. Т. I, 1982; Т. II, 1984. Bratislava.

В чистом поле ракита. Словацкие народные баллады, романсы и новеллистические песни

Рецензируемый сборник, составленный известным словацким ученым С. Бурласовой, включает как уже опубликованные тексты народных баллад, так и архивные материалы, причем старшие варианты относятся к началу XIX в., а

поздние являются современными полевыми записями.

Первые публикации словацких баллад относятся к 1835 г., а первый их сборник опубликован в 1923 г. К. А. Медведким. Наиболее авторитетным и цен-

ным до настоящего времени считается сборник, изданный И. Гораком в 1956 г.

Во введении С. Бурласова очерчивает то место, которое занимают баллады в духовной культуре народа, указывает на их идейно-художественную ценность, этическую и эстетическую функции.

Сборник предваряет статья «Словацкая песенная эпика», состоящая из восьми разделов.

В разделе «Баллады» автор дает общую характеристику жанра, сопоставляя словацкие баллады с англо-шотландскими, романскими, скандинавскими, немецко-голландскими, русскими, южно- и западнославянскими.

XVI—XVII вв. С. Бурласова считает временем жанровой кристаллизации словацкой баллады. Среди главных признаков баллады автор выделяет драматизм, трагический характер конфликта. Словацкие баллады строфичны, бытуют во многих вариантах, отличаются многообразием и пестротой мелодий, им присущи характерные региональные особенности. Говоря о родовой принадлежности баллад, С. Бурласова отмечает, что ряд словацких ученых рассматривает балладу как лиро-эпический жанр с сильным элементом драматизма.

Автор подчеркивает, что советские исследователи (Д. М. Балашов, Н. И. Кравцов, А. В. Кулагина) говорят о принципиальной эпичности баллад. Признаками эпичности она считает объективность изложения, повествовательность, сюжетность, а лиричности — отношение автора к событиям и персонажам, раскрытие их чувств и переживаний. С. Бурласова разграничивает лирическую и эпическую композиции (параллелизм и его различные виды — и временная, причинная последовательность). Мотивы динамические, сюжетные, взаимосвязанные — эпичны, статические, описательные, свободные — лиричны. В конкретном жанре выступает не «чистый» лиризм или эпика, а то или иное их сочетание (некоторые ученые говорят о песнях «с преобладанием эпика» и «с преобладанием лирики»).

Повествовательность баллад, их сюжетная композиция, по справедливому мнению С. Бурласовой, являются доминантным признаком, который выделяет их среди остальных песенных жанров и позволяет характеризовать как эпические песни. При этом все же нужно учитывать тот факт, что стихотворная и строфическая композиция, параллельность стихов и их равномерная повторяемость яв-

ляются характерными лирическими признаками.

Важной дискуссионной проблемой С. Бурласова считает выявление лирических и драматических элементов в балладах. Она полагает, что каждая эпическая песня обладает всеми родовыми признаками: диалоги репрезентуют драматизм, монологи — лиризм, а описания и повествования — эпiku.

Исследовательница подчеркивает, что к мотивам и их функции в композиции нельзя подходить механически. Формально сходные мотивы могут иметь в развитии действия динамический и статический характер. Диалог, например, может выражать действие, но также и взаимоотношения персонажей. В первом случае он будет динамическим, а во втором — статическим элементом, следовательно, с одной точки зрения, он будет эпико-драматическим, с другой — лирическим. Здесь важное значение имеет весь контекст.

В разделе «Баллады и другие эпические песни» С. Бурласова пишет о том, как решается проблема разграничения баллад, романсов и новеллистических песен польскими, русскими и украинскими учеными. Польская исследовательница Я. Ягелло отличает от баллад «думки и песни о необычайных происшествиях». Польский ученый С. Черник пишет, что баллады можно делить на несколько групп в зависимости от ряда лирических признаков. Д. Балашов говорит о балладе-романсе, П. Литур — о «новых балладах», близких к новеллистическим песням. Новейшие песни-хроники исследуют украинские ученые А. Дей и С. Грица.

В 1835 г. Ян Коллар опубликовал 60 народных словацких песен, большую часть которых составляли баллады, меньшую — романсы, а также две-три новеллистические и несколько лирических песен.

К подобным же наблюдениям пришла С. Бурласова, выделив баллады, романсы и новеллистические песни, теоретическое разграничение которых она делает в следующем разделе, посвященном этим трем жанрам.

Автор подчеркивает, что словацкие народные баллады являются эпическими песнями о драматическом происшествии с одним главным конфликтом, который возникает на любовной, семейной или общественной почве. Герои баллад обычно анонимны. Баллады начинаются с короткого (одна-две строфы) вступления, за которым следует диалог. Некоторые бал-

лады начинаются сразу с диалога. Концовка бывает эпическая, диалогическая или монологическая, обычно имеет форму морального поучения или разъяснения. Объем их 40—60 стихов (наибольший — 150 стихов).

Романсы, по наблюдениям С. Бурласовой, представляют собой более позднюю ступень развития баллад в сторону индивидуализации и лиризации. Это проявляется на уровне фабулы и сюжета. Действие часто сводится к одному эпизоду. То, что в балладах вытекает из действия, в романсах показывается слушателям уже случившимся. Автор отмечает, что субъективизм, а с ним и лирический принцип в композиции, проявляются в наличии способов изложения от первого лица. «Я» обычно присутствует во вступлении к романсу, далее — в диалоге, а затем происходит переход к третьему лицу. Это не слишком логичный способ композиции, — подчеркивает исследовательница, — но встречается он часто. Некоторые романсы, по наблюдениям С. Бурласовой, имеют в своей основе «мнимое действие», которое включается в композицию сюжета и выводит его за границы баллады (весьма распространена песня такого типа о дочери, выданной замуж далеко от родного дома). Объем романсов — около 30 стихов.

В новеллистических песнях, — отмечает автор, — повествовательная функция выступает на первый план. В них меньше диалогов, часто локализация действия, мало вариантов, для них характерны натуралистические пассажи и стремление к сенсационности. Объем их — 20—30 стихов.

Рассмотрен словацкие эпические песни, их композицию, С. Бурласова приходит к выводу, что в балладах доминирует драматический принцип, в романсах — лирический, в новеллистических песнях — эпический¹.

Разграничение эпических песен, проведенное С. Бурласовой, имеет важное теоретическое и методическое значение. К подобным наблюдениям над фольклорными процессами приходят и советские исследователи. Так, в 1984 г. в Москве Н. П. Зубовой была защищена диссертация «Песни литературного типа в устной народной традиции». Н. П. Зубова изучила наиболее распространенные ныне песни литературного склада и выделила

¹ Эти выводы нуждаются в уточнении, ибо публикуемый материал не всегда им соответствует (например, романс № 135 целиком построен на диалоге).

три жанра: баллады, романсы и песни переходного типа, близкие к народным. Её наблюдения, сделанные на русском материале, во многом соотносятся с наблюдениями С. Бурласовой.

В разделе «Развитие и жизнь эпических песен» С. Бурласова проследивает историю словацких баллад, учитывая древнейшие анимистические, магические и прочие мотивы, характеризующие время расцвета этого жанра (XVI — XVIII вв.) и пути дальнейшей трансформации в романсы и новеллистические песни.

В разделе «Межэтнические связи словацких эпических песен» С. Бурласова, опираясь на выводы О. Зилинского, указывает, что из 52 балладных сюжетов 40 являются общими для чехов, поляков и украинцев. По более полным и точным данным может дать каталогизация эпических песен во всей совокупности вариантов всех славянских народов.

В разделе «Тематика опубликованных песен» С. Бурласова рассматривает принципы классификации публикуемых материалов, учитывая опыт К. Медвецкого, И. Горака, О. Зилинского. Автор считает, что удобнее подробное членение материала, и выделяет 10 тематических групп:

1. Суеверия о колдовстве, мертвецах и сверхъестественных существах (№ 1—15);
2. Любовные отношения (№ 16—108);
3. Семейные отношения (№ 109—145);
4. Общественные отношения (№ 146—160);
5. Война (№ 161—178);
6. Разбойничество (№ 179—208);
7. Исторические (№ 209—217);
8. Случайные несчастья (№ 218—234);
9. Схватки, самоубийства и убийства (№ 235—260);
10. О животных (№ 261—269).

Подобное деление обладает своими достоинствами и недостатками. Большая дробность, с одной стороны, дает возможность более широко охарактеризовать публикуемый материал, а с другой стороны, делает классификацию более уязвимой с точки зрения последовательности.

Так, группа 1 (с фантастическими мотивами) включает тексты о семейных отношениях (мать обращает дочь в явор; мертвая мать забирает к себе сироту, которую обижает мачеха; ангелы уносят сироту на небо, а черти — мачеху в пекло) и любовных (девица обращает милого в явор; мертвый жених приходит к невесте; черт уносит грешную девушку в пекло). Часть текстов из группы 5 («Война») могла бы войти в группу семейных или исторических (дочь идет на войну вместо отца; сестра узнает о смерти брата на вой-

не; воин гибнет в бою; товарищи хоронят убитого воина). Есть здесь и песни с фантастическим мотивом (сокол сообщает девушке о гибели милого на войне). В группу 6 («Разбойничество») вошли исторические баллады (ряд сюжетов о Яношике и Вдовчике) и баллады об общественных отношениях (сестра с братом разбойничают; жена разбойника узнает, что он убил ее брата; разбойники берут в плен сестру). Песни из группы 8 (о случайных несчастьях) могли бы быть отнесены в группу любовных (парень стреляет в лису, а попадает в милую; парня убивают вместо оленя; девица просит рыбаков выловить тело утонувшего милого). Песни из группы 9 тоже могли бы быть включены в группу любовных (парня убивает его милая; девица топится в Дунае; девица оплакивает убитого милого) или семейных (парня убивают на его свадьбе; мужа убивают в лесу, трактире).

Баллады, романсы и новеллистические песни входят почти в каждый раздел. По раздел 1 с более древним материалом включает одни баллады, 8 и 9 — романсы и новеллистические песни, а 9 — только романсы.

Подобная композиция сборника дает возможность представить материал не

только в тематическом, но и в историческом аспекте, в эволюции от баллады к романсу и новеллистической песне.

Думается, объединение баллад, романсов и новеллистических песен в одном сборнике логично и обоснованно. Баллады западных славян, и в частности словацкие, отличаются от баллад южных и восточных славян (особенно русских) отсутствием древних эпических песен. Когда Д. М. Балашов включил в сборник русских баллад раздел «Новые баллады», он погрешил против своей теории первенствующего значения балладной формы, объединив древние песни с традиционным белым стихом и рифмованные, строфичные песни литературного типа. Сборник С. Бурласовой лишен этого недостатка: словацкие баллады, романсы и новеллистические песни близки между собой по структуре.

Подытоживая сказанное, необходимо подчеркнуть, что славянское балладоведение обогатилось цепным трудом, отличающимся широким охватом материала (текстами и нотными приложениями к большинству из них) и его глубоким теоретическим осмыслением.

Кулагина А. В.

П. А. Дмитриев, Г. И. Сафронов. Вук С. Караджич и его реформы сербохорватского/хорватосербского литературного языка. Л., 1984, 107 с.

В 1987 г. исполняется 200 лет со дня рождения выдающегося сербского ученого Вука С. Караджича. Главным делом его жизни стала реформа литературного языка в Сербии, положившая начало общественному признанию норм литературного языка на народно-речевой основе. В преддверии знаменательного юбилея особенно своевременной представляется монография П. А. Дмитриева и Г. И. Сафронова, посвященная современному переосмыслению и обобщению итогов реформаторской деятельности выдающегося ученого.

Достоверность научного описания и выводов рецензируемой монографии опирается на постоянно проводимое сопоставление лингвистических, историко-культурных и историко-литературных явлений и процессов с факторами исторического, территориального, экономиче-

ского, социального и политического порядка.

У всех, кто в своей повседневной практике соприкасается с сербохорватским языком, прежде всего встает вопрос, почему вокруг реформы Вука Караджича, предлагавшей, казалось бы, столь рациональную модель литературного языка, развернулась в момент ее проведения едва ли не гражданская война в Сербии. Отвечая на этот важнейший, самый принципиальный вопрос, авторы осуществляют тщательный анализ не только языковой ситуации накануне реформы — это делалось и ранее — но и факторов внешнего порядка, являвшихся историческим фоном и социально-экономической почвой реформы.

В начале XIX в. Россия оказалась единственной из великих держав, согласившейся помочь сербским повстанцам

в Османской империи и предоставить им дипломатическую, материальную, а впоследствии и военную помощь. Привлекая богатый фактический материал, авторы показывают масштабность русско-сербских межнациональных и языковых контактов эпохи, предшествовавшей реформе. Тем самым становится понятна сложность задачи, которую в это же время предстояло решать Караджичу. Необходимо было убедить значительную часть сербского общества, питавшего горячие симпатии к России — к ее народам, передовой культуре, отказаться от смешанного языка, представлявшего смесь церковнославянского, сербского и русского языков, и осознать необходимость лингвистического единства литературного языка.

Восстанавливая сложную языковую ситуацию, сложившуюся в сербской литературе дореформенного периода, П. А. Дмитриев и Г. И. Сафронов дают четкие определения всех типов литературных языков, функционировавших в тот период одновременно, помогая тем самым избежать терминологической путаницы и обратиться в истории вопроса. Выделяя первоначально три языка — (1) русско-славянский (церковнославянский язык русской редакции), (2) русский (разновидности русской светской литературы XVIII в.) и (3) народный сербский (точнее — близкий к народному, главным образом, к воеводинским говорам), авторы констатируют, что сферы употребления этих языков в большинстве случаев были жанрово обусловлены. Так, русско-славянский использовался в церковной литературе (псалтирях, евангелиях, деяниях апостолов, часословах, сборниках молитв), в стихах на евангельские сюжеты, одах; русский язык — текстах исторического содержания, переводах исторических текстов, дифирамбических стихах, в поэзии образованного городского сословия; народный язык использовался в учебно-теологической литературе, в стихах с национальными сюжетами, в любовной лирике, в переводах комедий, появившихся у сербов в конце XVIII в. Исключительно важным представляется вывод о закономерности появления в сербской литературе четвертого литературного языка — славяно-сербского (смешанного или среднего), сочетавшего в своем составе элементы трех вышеупомянутых языков. Авторы подчеркивают, что в этом активно проявилась тенденция перехода от жанрово обусловленного разноязычия к независимому от

жанра одноязычию, характерному для литературного языка национальной поры. Средний язык стал языком образованных городских сословий, а с 1785 г. он был официально принят в сербских школах. Единой модели среднего языка не было. Соотношение церковнославянских, русских и народных элементов определялось «вкусом» каждого писателя, поэтому такой язык имел много реализаций, сближающих его то с церковнославянским, то с русским, то с народным языками. Авторы показывают, что средний язык получил широкое распространение в сербской литературе дореформенного периода не только благодаря естественной интерференции языка народного с церковнославянским и русским, но и в результате сознательной деятельности части писателей, стремившихся сделать свои произведения более доступными широкому кругу читателей. Особенно много интересного содержит раздел, посвященный деятельности теоретика «среднего» стиля М. Видаковича. Высказывая ряд правильных положений о литературном языке, о необходимости его нормирования, о различиях между литературным и разговорным языками, М. Видакович стремился к искусственному созданию таких различий. Считаю «славянский» язык более возвышенным, он неоднократно повторял, что необходимо понемногу исправлять язык сербов по образцу «славянского», сохраняя нужные церковнославянские слова и особенно окончания.

Идея одноязычия, воплотившаяся в сербской литературе в облике смешанного славяно-сербского языка, концептуально отчасти совпадала с реформаторской программой Караджича. Однако Караджич боролся не столько за общий литературный язык, сколько за язык единый в лингвистическом отношении. Воплощая в жизнь свою идею о лингвистически целостном литературном языке, Караджич обращается к (и)екавским новоштокавским восточно-герцеговинским говорам (по терминологии В. Караджича — южпому паречию), кодифицирует их в своих трудах и приводит в соответствие с нормами этих говоров фонетический и грамматический строй, а также лексический состав литературного языка. Одновременно В. Караджич реформирует сербскую графику и орфографию. Поскольку новый литературный язык опирался в своих нормах прежде всего на язык крестьян, никогда не учившихся в школе, в нем по должны

были употребляться славянизмы и русизмы. Выступая за устранение из литературного языка на народно-речевой основе церковнославянизмов и русизмов, Вук Караджич должен был установить различия между церковнославянским и сербским языками. Церковнославянизмами он считает те слова и формы, которые употребляются в церковных книгах, но отсутствуют в народных говорах; сербскими — те, которые употребляются в народных говорах, но не используются в церковных книгах, точно так же, как и в народном языке.

Особенно много важных наблюдений и выводов содержится в разделе монографии, посвященном переводу «Нового завета», ставшему по замыслу Караджича образцом практического использования народного языка в литературе и сыгравшему решающую роль в борьбе за победу его реформы. При переводе «Нового завета», характеризующегося широким диапазоном лексики, остро вставал вопрос о пополнении лексического фонда литературного языка на народно-речевой основе. Не имея в Сербии предшественников в области перевода на народный язык подобных текстов, Караджич должен был по многим вопросам первым принимать решения, имеющие принципиальное значение для определения дальнейших путей развития литературного языка на народно-речевой основе. К кодификации разных уровней говоров южного наречия Караджич подходил избирательно, проявляя в этом вопросе лингвистическую зрелость и осмотрительность. Он считал, что из языка «свинопасов и пастухов» следует взять правила изменения слов и синтаксис, а обо всем остальном (например, о лексике) можно будет договориться. Недостающую ему лексику он искал в родном трипличком говоре, но всем южном наречии, в языке фольклора и во всех других штокавских говорах. Главным в отборе лексики было только одно условие — в литературном языке должны употребляться только те слова и формы, которые используются в языке крестьян, никогда не учившихся в школе. Такой подход делал концепцию литературного языка Вука Караджича изначально открытой для широкого проникновения заимствованной лексики, употребительной в разных штокавских говорах (турецкого, латинского, чешского и т. д. происхождения). Опасаясь, и не без оснований, реставрации смешанного языка, Караджич старался всячески ограничить поступление новой лексики толь-

ко из одного источника — этимологически родственного церковнославянского языка. В предисловии к «Новому завету» он информирует читателей, что употребил 30 турецких слов, сохранил ряд слов из еврейского и латинского языков, главным образом при переводе собственных имен и для обозначения понятий и реалий, неизвестных сербам, и употребил всего лишь 96 церковнославянских слов, причем 47 из них он «осербил». Спустя несколько лет при подготовке второго издания словаря (1852) Караджич провел еще более жесткий отбор церковнославянской лексики, оставив лишь 9 из 49 неосербленных церковнославянских слов, не были включены и многие осербленные им слова, значительно сокращен список церковнославянских слов, содержащихся в первом издании словаря (1818). И второе издание словаря, и вся последующая деятельность Караджича характеризуется общей тенденцией дальнейшего устранения из литературного языка церковнославянской лексики.

Обобщая результаты наблюдений многих исследователей над языком Вука Караджича, авторы показывают, какую исключительную осмотрительность проявлял он и при создании неологизмов, допуская их образование лишь при отсутствии в народном языке необходимого слова, причем образовывая новые слова лишь в строгом соответствии с активно функционировавшими в языке продуктивными словообразовательными моделями. Караджич даже предполагал, что где-нибудь в пародии эти слова и употребляются. Так, из 84 новообразований, специально созданных им в процессе работы над переводом «Нового завета», 30 лексем он действительно обнаружил позднее в народном языке, и включил их во второе издание своего словаря.

Авторы монографии убедительно показывают, что несмотря на максимализм Караджича, ему не удалось полностью порвать с предшествующей литературно-языковой традицией. Многие церковнославянские (и русские) слова, в том числе и те, которые он сознательно не включил во второе издание своего словаря, продолжают жить в современном литературном языке, сохранились и даже активизировались отдельные словообразовательные модели церковнославянского происхождения, старославянские и церковнославянские образцы повлияли на выбор лексем из диалектов.

Тем не менее, и авторы подчеркивают это, неизбежные уступки Караджича пред-

пествовавшей литературно-языковой традиции носят ограниченный характер, а его языковая практика принципиально отличается от языковой практики сторонников смешанного языка. Писатели, которых критиковал Вук Караджич, считали церковнославянский язык образцом, в соответствии с которым они «облагораживали» литературный язык сербов. И в теории, и на практике они допускали безграничные заимствования из церковнославянского языка слов и их форм. В отличие от них Караджич кодифицировал лишь живой народный язык и к заимствованиям из церковнославянского языка прибегал в исключительно редких случаях. И Караджич выработал свой средний стиль. Однако он достиг этого не за счет использования заимствований из церковнославянского языка или принятия языка образованных городских сословий, а за счет включения в литературный язык лексики из разных штокавских диалектов, функциони-

рование которой в общем литературном языке было подчинено (фонетическим и грамматическим) нормам южного наречия.

Перевод «Нового завета» был решающим и завершающим актом в реформаторской деятельности Караджича. Однако борьба за окончательную победу нового литературного языка продолжалась еще долгие годы, так как противники реформы были сильны, располагали властью, сильным влиянием в обществе, материальными средствами. Монография П. А. Дмитриева и Г. И. Сафронова, позволяющая оценить путь Караджича с высоты сегодняшнего дня, приводит современного читателя к логическому выводу о том, что только патриотизм, безграничная вера в совершенство народного языка и преданность идее помогли ему не свернуть с дороги и реформировать литературный язык целого общества.

Тялко Г. Г.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ О Я. А. КОМЕНСКОМ

В связи с приближающимся в 1992 г. юбилеем Яна Амоса Коменского — 400-летием со дня его рождения — Чехословацкая академия наук с начала 80-х годов приступила к осуществлению широкой программы научных мероприятий, нацеленной на активизацию и углубление исследования жизни и творчества великого чешского мыслителя, педагога и общественного деятеля.

В рамках данной программы было возобновлено проведение многосторонних международных встреч, посвященных анализу творческого наследия Коменского. 16—20 июня 1896 г. в замке Либлице под Прагой состоялся пятый (предшествующие четыре проводились в 1957, 1967, 1980 и 1982 гг.) международный комениологический симпозиум, организованный Институтом педагогики им. Я. А. Коменского ЧСАН при участии ряда академических институтов (Института чехословацкой и всеобщей истории, Института философии и социологии, Института чешской и мировой литературы, Института теории и истории искусства и др.) и при содействии Чехословацкой комиссии по делам ЮНЕСКО.

Симпозиум 1986 г. планировался одновременно как важная и необходимая ступень на пути подготовки будущей юбилейной конференции 1992 г.: предметом его обсуждения явилась обобщающая тема «Вклад Яна Амоса Коменского в мировую науку и культуру».

Как и предшествующие комениологические мероприятия, симпозиум носил междисциплинарный характер: в нем приняли участие педагоги, историки, философы, историки культуры, науковеды, литературоведы, лингвисты, искусствоведы и другие — всего более 80 ученых, в том числе 30 иностранных гостей, представлявших Англию, ГДР, Голландию, Польшу, Румынию, СССР, Францию, ФРГ, Швецию и Югославию.

Цель встречи, как подчеркнула, открывшая симпозиум, директор Института педагогики им. Я. А. Коменского ЧСАН

член-корр. ЧСАН Я. Скалкова — с вершины всего накопленного сегодня комениологического знания (а находки неизвестных документов Коменского все еще продолжают) и с позиций современных методологических представлений о закономерностях развития науки и ее роли в механизме общественного прогресса проанализировать многогранное и вместе с тем целостное творческое наследие Я. А. Коменского, оценить его место и роль в истории научной революции XVII в., охарактеризовать вклад в развитие европейской культуры, воздействие на последующее развитие общественной мысли и науки отдельных стран, непреходящую актуальность его творчества в современную эпоху.

В связи с «многослойностью» вынесенной на обсуждение симпозиума проблемы доклады и сообщения (их заслушано 49) были сгруппированы в три самостоятельных цикла, что в целом обеспечивало рассмотрение творчества Я. А. Коменского через призму последовательного историзма.

Первый цикл — «Исторические предпосылки возникновения творчества Я. А. Коменского» — открывался постановочными докладами Я. Панека «Лабиринт добелогорской Чехии» и А. Костлана «Выход из лабиринта побелогорской Чехии», раскрывавшими социально-историческую проблематику эпохи. За ними следовали содержательные доклады Й. Полишенского «Мир, в котором жил Коменский», М. Паузы, П. Горака и В. Герольда «Некоторые теоретико-философские аспекты мышления Коменского», Й. Дворского «Личность и творчество Коменского на рубеже эпох маньеризма и барокко». К ним примыкал ряд интересных сообщений, посвященных истокам формирования мировоззрения Коменского. В целом доклады этого цикла содержали разносторонний материал, характеризующий рождение научной концепции Коменского в контексте конкрет-

ных общественных условий, в русле соответствующих национальных и европейских культурных традиций, современных ему социально-утолических концепций.

Второй тематический цикл — «Творчество Я. А. Коменского в развитии науки и культуры XVII в.» — открывался обобщающим докладом ведущего чехословацкого комениолога Д. Чанковой «Творчество Я. А. Коменского и мышление XVII в.». Следующие доклады и сообщения касались преимущественно различных сторон общефилософской концепции Коменского и его научного метода: Г. Михеля (ФРГ) «Понятие культуры у Коменского», К. Шаллера (ФРГ) «Коменский и картезианство. Новые масштабы актуальности его пансофической педагогики», Я. Янко и М. Янковой «Логико-методологические и естественно-научные источники синкретического метода», В. Соудиловой «Этика Коменского», Я. Кумперы «Политические взгляды Коменского и идеология английского республиканизма» и др.

Самостоятельная группа докладов была посвящена анализу различных аспектов социально-педагогической проблематики: «Новаторская дидактика естествознания Коменского» (Т. Беньковский, ПНР), «Связь теории и практики в педагогическом творчестве Коменского» (Б. Угер), «Концепция Коменского роли игры и театра» (Д. Кожминова), «Коменский как драматург и теоретик школьного театра» (М. Цеснакова), «Воспитание в духе мира — основная идея творчества Коменского (Г. Перс, ФРГ)», «Общественно-философская и педагогическая концепция работ Коменского венгерского цикла» (И. Антиохи, СРР) и др.

Были подробно рассмотрены также и другие стороны творческого наследия Коменского, связанные с проблемами науки, языка и т. д.: «Коменский и идея Академии в XVII в.» (К. Грау, ГДР), «Функция языка во „Всеобщем совете“» (Я. Пширатска) и др.

Третий тематический цикл открывался докладом известного комениолога М. Бечковой «Резонанс творческого наследия Коменского в европейской науке и проблематика комениологических исследований». К этому циклу были также отнесены доклады: Я. Пешковой «Коменский как традиция и его педагогическое и идейное наследие», Я. Томиака (Англия) «Равные произведения Коменского, опубликованные в Англии, их происхождение, основы, влияние», Ф. Гоффмана (ГДР) «„Мир

в картинках“ — иллюстрированные книги о вещах — суть воспитательных взглядов Коменского (Коменский — Базедов — Песталоцци)», К. Флосса «Триада: Коменский, Лейбниц и эпоха Просвещения», Й. Гаубельт «Палацкий и Коменский», Я. Шлегелевой «Духовное наследие Коменского и Карлов Университет в XIX — начале XX в.», С. Смоляницкого (СССР) «Коменский и современность (правдивые и исторические уроки Коменского)».

Особая группа докладов была специально посвящена историографической проблематике: Й. Цах — «Основные проблемы педагогико-комениологических исследований в чешских землях 1848—1945 гг.», Й. Матей — «Коменский в словацкой педагогической историографии», Э. Д. Днепров (СССР) — «Коменский в русской и советской историографии: итоги и перспективы», А. Вукасович (СФРЮ) — «Влияние Коменского на педагогическое и культурное движение в Хорватии».

Комениологический симпозиум 1986 г. безусловно выполнил те задачи, которые ставили перед ним его организаторы. Более того — он продемонстрировал оптимизм и быстрый прогресс европейской комениологии. Последнее обстоятельство имеет ряд веских объективных оснований. Одно из них — известные комениологические открытия XX в., среди которых — обнаружение фундаментального философского трактата Коменского «Всеобщий совет об исправлении человеческих дел». Публикация трактата в 1966 г. представила Коменского миру как крупного философа и социального мыслителя своей эпохи, как предтечу философии Просвещения. Одновременно она в новом свете показала и его педагогическое наследие. Вопреки высказывавшимся опасениям, что неизбежный теперь комплексный подход растворит Коменского-педагога в Коменском-философе, новый социально-философский контекст обогатил саму педагогику Коменского, выявил ее гуманистические идейные взаимосвязи, расширил ее общенаучный фундамент, позволил преодолеть одностороннее позитивистское понимание Коменского.

Другая причина очевидного роста интереса к Коменскому сегодня — его специфическое место в научной революции XVII в., оригинальность его пансофической концепции и его научного метода (синкретизм). Энциклопедическая целостная картина мира, строившаяся Коменским «от человека» (т. е. от субъекта, а не от объекта познания), сохраняя взаимодействие гносеологического и аксиоло-

гического «способов» организации знания, демонстрирует эффективные возможности этого способа, утраченные ныне в значительной мере в связи с глубокой дифференциацией наук.

Таковы некоторые факторы, детерминировавшие расширение актуальности комениологии в условиях современного прогресса науки, активизировавшие сегодня интерес к изучению творческого наследия Я. А. Коменского.

Но, как следует из вышесказанного, эффективность всякой национальной комениологии определяется полнотой ее источниковой базы и прежде всего — до-

ступностью для исследователей «Всеобщего совета». Как отметила в своем заключительном слове при закрытии симпозиума Я. Скалкова, насущная необходимость перевода этого памятника на различные языки была высказана еще в 1970 г. на международной комениологической конференции известным советским специалистом Д. О. Лордкипанидзе. И дальнейшие успехи комениологии лежат в русле ее дальнейшего развития как комплексной дисциплины.

Кузьмин М. Н.

CONTENTS

<i>Slavin G. M.</i> To the Characteristic of the International Conditions of the Socialist Construction in the Central and Southern Eastern European Countries (second half of the 1950s — early years of the 1960s). <i>Popovich N.</i> The South Slavic Voluntary Movement in Russia 1914—1918. <i>Grekov I. B.</i> Muskovy — Poland Agreement of Union and «Eternal Peace», 1686. <i>Lipatov A. V.</i> On the Problems of the Writing of the General History of Slavic Literatures (from the Middle Ages to the Midst of the XIX-th Century). <i>Prokofjeva D.</i> To the Question of the Literary Stereotype in Polish Romantic Poetry. <i>Murianov M. Ph.</i> On the Origins of the Gardening Vocabulary in Slavic Languages. <i>Smolskaya A. K.</i> Diachronic Constants of Slavic Nominal Word-Building and Feminine Suffixes in Serbo-Croatian Literary Language. <i>Gerd A. S.</i> Zone Classification of the Slavic Texts of the XV-XVI-th Centuries	3
--	---

PEOPLE, EVENTS, FACTS

<i>Kishkin L. S.</i> Story of a Book about Pushkin. <i>Polak J.</i> Jan Neruda's Consideration for František Palacký	88
--	----

REVIEW ARTICLES AND REVIEWS

<i>Cherniavskii G. I.</i> Социальная структура и политическое движение в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: Межвоенный период. <i>Myl'nikov A. S.</i> Ян Неруда. Библиографический указатель. <i>Kulagina A. V.</i> sírom poli rokyta. Slovenské ľudové balady, romance a novelistické piesne. <i>Tiarko G. G.</i> П. А. Дмитриев, Г. И. Сафронов. Вук С. Караджич и его реформа сербохорватского/хорватосербского литературного языка.	98
--	----

SCIENTIFIC LIFE

<i>Kuzmin M. N.</i> International Symposium on J. A. Komensky.	109
--	-----

Технический редактор *Е. В. Синецына*

Сдано в набор 11.02.87	Подписано к печати 01.04.87	А-07075	Формат бумаги 70×108 ^{1/16}
Высокая печать	Усл. печ. л. 9,8	Усл. кр.-отг. 12,4	Уч.-изд. л. 11,2
		Тираж 1222 экз.	Бум. л. 3,5
		Зак. 120	

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»,
103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

К-17

В ОРДНИКА 34/38-40

ТОЛСТОВУ И И

70891

Цена 1 р. 20 к.

Индекс 70891

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «НАУКА»

готовятся к печати:

Бернштейн С. Б. А. М. Селищев — СЛАВИСТ-БАЛКАНИСТ. 6 л. 95 к.

Книга посвящена жизни и деятельности видного ученого, крупного специалиста в области славянских и балканских языков Афанасия Матвеевича Селищева, труды которого сыграли большую роль в развитии ряда важных теоретических положений мировой славистики и балканистики первой половины XX в.

Издание представит интерес для историков языка, диалектологов, специалистов по сравнительному языкознанию.

СОВЕТСКО-БОЛГАРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ. 1959—1969 гг. 55 л. 6 р.

В данный том включены документы и материалы, отражающие государственные, дипломатические, общественно-политические, партийные, экономические, научные и культурные отношения между СССР и Болгарией в 1959—1969 гг. Публикация освещает связи между производственными и научными коллективами двух стран, деятельность общества болгаро-советской дружбы, социалистическое соревнование как одну из форм сотрудничества и т. д. Раскрывается важность совместной борьбы за обеспечение безопасности и ослабление международной напряженности.

Книга рассчитана на историков и широкий круг читателей.

Заказы просим направлять по одному из перечисленных адресов магазинов «Книга — почтой» «Академкнига»:

480091 Алма-Ата, 91, ул. Фурманова, 91/97; 370001 Баку, Коммунистическая ул., 51; 690088 Владивосток, Океанский проспект, 140; 320093 Днепропетровск, проспект Ю. Гагарина, 24; 734001 Душанбе, проспект Ленина, 95; 664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 289; 420043 Казань, ул. Достоевского, 53; 252030 Киев, ул. Пирогова, 4; 277012 Кишинев, проспект Ленина, 148; 343900 Краматорск, Донецкой области, ул. Марата, 1; 443002 Куйбышев, проспект Ленина, 2; 197345 Ленинград, Петрозаводская ул., 7; 220012 Минск, Ленинский проспект, 72; 117192 Москва, Мичуринский проспект, 12; 630090 Новосибирск, Академгородок, Морской проспект, 22; 142292 Пушкино, Московской обл., МР, «В», 1; 620151 Свердловск, ул. Мамина-Сибиряка, 137; 700185 Ташкент, ул. Дружбы народов, 6; 450059 Уфа, 59, ул. Р. Зорге, 10; 720001 Фрунзе, бульвар Дзержинского, 42; 310078 Харьков, ул. Чернышевского, 87.